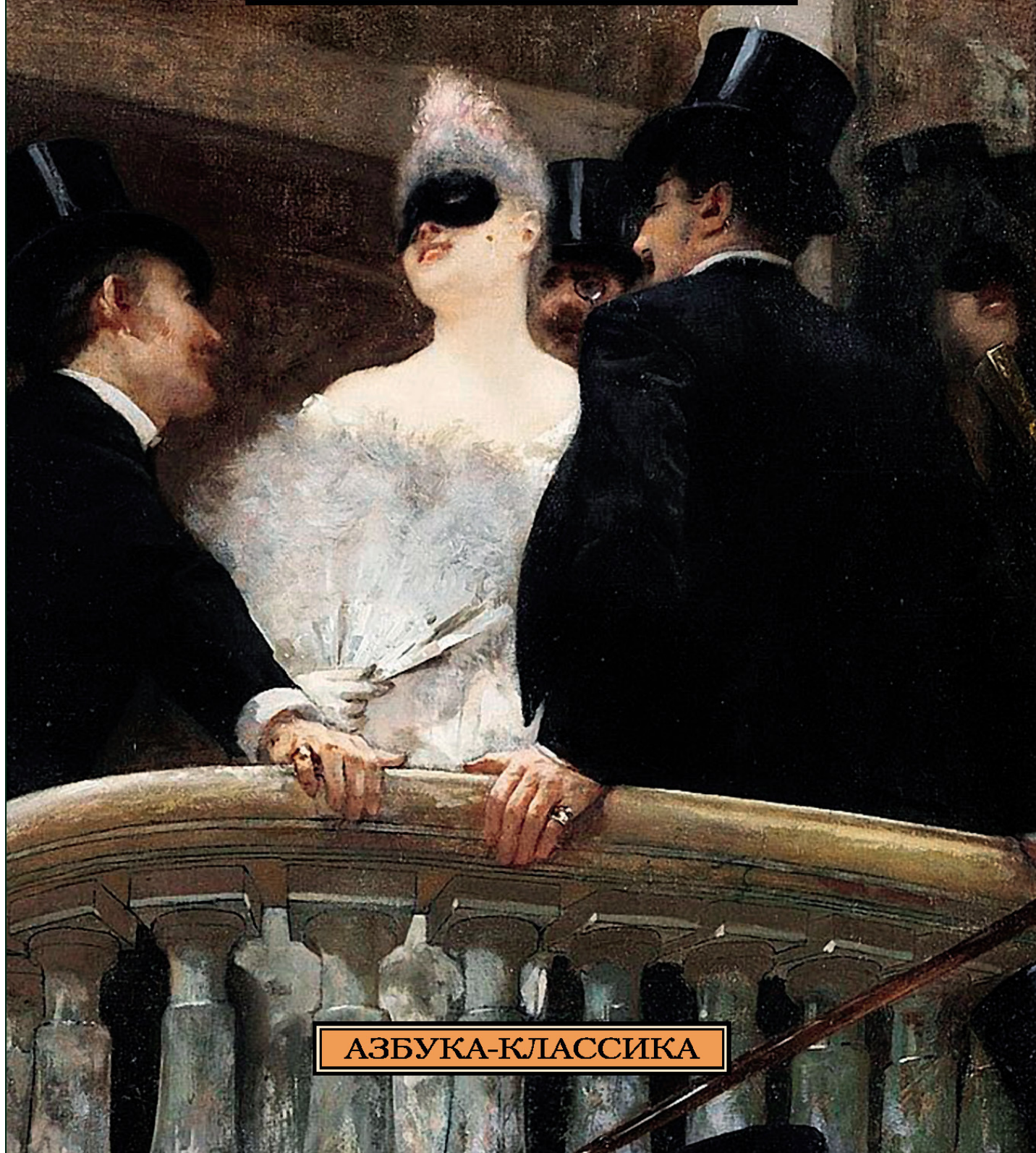


УИЛКИ
КОЛЛИНЗ

*Когда
опускается ночь*



АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Уильям Уилки Коллинз
Когда опускается ночь

«Азбука-Аттикус»

1856

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Коллинз У.

Когда опускается ночь / У. Коллинз — «Азбука-Аттикус»,
1856 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-21453-8

Уилки Коллинз — один из самых известных писателей Викторианской эпохи. Романы «Женщина в белом» и «Лунный камень», выходившие в журнале Чарльза Диккенса «Круглый год», в буквальном смысле слова свели с ума всю Европу. Мастер интриги и увлекательного сюжета, он покорял своих читателей искусным сочетанием двух популярных жанров: мелодрамы и готического детектива. В настоящее издание вошел роман «Когда опускается ночь», который может служить наглядным примером мастерства Уилки Коллинза. Шесть увлекательных историй, полных тайн и напряжения, собранные автором в единую картину, достойную занять место среди самых изысканных произведений классической английской литературы.

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-21453-8

© Коллинз У., 1856
© Азбука-Аттикус, 1856

Содержание

Предисловие	5
Страницы из дневника Леи	6
Пролог к первому рассказу	15
Рассказ путешественника о жуткой кровати	20
Приписка миссис Керби	30
Пролог ко второму рассказу	31
Рассказ законника о похищенном письме	34
Пролог к третьему рассказу	45
Рассказ француженки-гувернантки о Сестрице Розе	50
Часть первая	50
Глава I	50
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Уилки Коллинз

Когда опускается ночь

Предисловие

Мне пришлось потрудиться, чтобы нанизать разнообразные истории, вошедшие в этот сборник, на нить единого сюжета, у которого, насколько мне известно, есть по крайней мере одно достоинство: прежде он нигде не встречался.

Страницы, озаглавленные «Дневник Леи», служат, однако, и иной цели, а не только обеспечивают сюжетные рамки для моего собрания рассказов. В этой части книги, а затем и в «Прологах» к отдельным рассказам я стремился дать читателю чуть более подробное представление о жизни художников, которую имел возможность изучить благодаря особым обстоятельствам и которую уже попытался описать под другим углом в своем романе «Прятки». На сей раз мне хотелось бы вызвать сочувствие к радостям и горестям бедного странствующего портретиста, чья история представлена с точки зрения его жены в «Дневнике Леи» и будет кратко и просто изложена им самим в «Прологах» к каждой части. Я преднамеренно ограничил эти две составляющие моей книги в объеме: в одном случае описал ровно столько, сколько успела бы рассказать самая настоящая жена художника, улучив минутку, свободную от хозяйственных хлопот, а в другом – столько, сколько был бы готов поведать о себе и о характерах, с которыми повстречался во время странствий, человек скромный и разумный. Если мне посчастливилось доходчиво донести свои мысли столь простыми и лаконичными средствами и если при всем при том я сумел достичь поставленной цели – свести вместе несколько разрозненных историй, подогнать их друг к другу, сделать из них части единого целого, значит мне удалось воплотить замысел, в осуществлении которого я некоторое время отнюдь не был уверен.

Относительно самих историй, взятых по отдельности, мне нужно лишь дать необходимые пояснения и указать, что «Хозяйка Гленвит-Грейндж» предлагается читателю впервые, а остальные рассказы появлялись на страницах журнала «Домашнее чтение». Искренне благодарю мистера Чарльза Диккенса, который по доброте своей разрешил мне объединить их в общий сюжет и представить в нынешнем виде.

Кроме того, я должен выразить благодарность и признательность иного рода выдающемуся живописцу У. С. Геррику, перед которым я в долгу за занимательные и курьезные факты, ставшие основой рассказов «Жуткая кровать» и «Желтая маска».

Хотя тем, кто хорошо меня знает, это утверждение может показаться несколько поверхностным, не будет неуместным добавить в заключение, что все эти истории – исключительно плод моего воображения, сочинительства и писательства. Одно то, что события некоторых из них разворачиваются за границей и их герои иностранцы, по всей видимости, некоторым образом намекает на иностранное происхождение самих историй. Позвольте раз и навсегда заверить моих читателей, удостоивших меня своего внимания: и в этом, и во всех остальных случаях они вправе быть совершенно уверенными в подлинности и неподдельности плодов моего литературного труда. Пускай мои дети еще малы и слабы, пускай они и нуждаются в дружеской помощи в своих первых попытках выйти на сцену нашего большого мира, но все же они мне родные, и я их ни у кого не позаимствовал. И в самом деле, моя литературная семья растет до того быстро, что это, по всей видимости, лишает смысла самый вопрос о заимствовании и заставляет всерьез опасаться, что я далеко не закончил вносить свой собственный неповторимый вклад в многочисленную популяцию книг.

Страницы из дневника Лей

16 февраля 1827 года. – Недавно заходил доктор, чтобы в третий раз осмотреть глаза моего мужа. Слава богу, сейчас нет ни малейших опасений, что мой бедный Уильям потеряет зрение, если, конечно, удастся убедить его строго придерживаться всех врачебных рекомендаций ради сохранения здоровья глаз. В нашем случае следовать этим рекомендациям крайне затруднительно, ведь Уильяму запретили заниматься своим ремеслом по меньшей мере ближайшие полгода. Скорее всего, советы доктора обрекут нас на бедность, а может быть, и на самую настоящую нищету; однако их необходимо выполнять со всем прилежанием и даже с благодарностью, поскольку вынужденный перерыв в работе спасет моего мужа от страшной участи – от слепоты. Думаю, теперь, когда нам известно худшее, я сумею сохранить бодрость и стойкость – по крайней мере, за себя я ручаюсь. Но могу ли я ручаться за детей? Могу, разумеется, ведь их только двое. Грустно в этом признаваться, но сейчас впервые со дня свадьбы я рада, что их у нас не больше.

17-е. – Ночью, когда я, как могла, успокоила Уильяма насчет будущего и услышала, что он уснул, меня охватил ужас: вдруг доктор не сказал нам худшего? Иногда медики обманывают больных, и я всегда считала это ложно понятым добросердечием. От одного подозрения, будто меня ввели в заблуждение относительно здоровья моего мужа, мне стало настолько не по себе, что я нашла предлог выйти из дома и тайком пришла к доктору. К счастью, я застала его дома и в двух словах объяснила ему цель своего визита.

Он улыбнулся и заверил меня, что опасаться мне нечего: он сказал нам самое худшее.

– И это самое худшее, – спросила я, желая избавиться от всяческих сомнений, – состоит в том, что в ближайшие шесть месяцев моему мужу следует дать полный отдых глазам?

– Совершенно верно, – ответил доктор. – Учтите, я не говорю, что ему нельзя иногда нарушать предписание носить зеленые очки и находиться дома: можно и выходить на час-другой, когда воспаление уменьшится. Однако я повторяю со всей настойчивостью: ему нельзя утомлять глаза работой. Нельзя даже прикасаться к кистям и карандашам; и если вы спрашиваете моего мнения, то ему еще полгода не следует и думать о портретах. Настоящей причиной всех скверных симптомов, с которыми нам пришлось впоследствии бороться, стало именно его упорное желание закончить два портрета в период, когда глаза впервые начали изменять ему. Если помните, миссис Керби, я предупреждал его об этом, когда он только приехал в наши края поработать.

– Да, предупреждали, сэр, – отвечала я. – Но как же быть бедному странствующему портретисту, который зарабатывает себе на жизнь рисованием – то здесь, то там? Его глаза – наши кормильцы, а вы велели дать им отдохнуть.

– Неужели у вас нет иных доходов? Только те деньги, которые зарабатывает мистер Керби рисованием портретов? – спросил доктор.

– Нет, – ответила я, и сердце у меня сжалось, когда я представила себе счет, который он выставит нам за лечение.

– Пожалуйста, простите меня, – проговорил он, покраснев и несколько смутившись, – точнее, поймите, что я спрашиваю из одного лишь дружеского интереса к вам: удастся ли мистеру Керби обеспечить благосостояние семьи своим ремеслом? – Я не успела ответить, как он испуганно добавил: – Умоляю, только не подумайте, будто я интересуюсь из праздного любопытства!

У него не могло быть никаких низменных побуждений задать этот вопрос, и этого мне было достаточно, поэтому я ответила сразу же, просто и правдиво:

– Мой муж зарабатывает совсем немного. Знаменитые лондонские портретисты получают от своих заказчиков большие деньги, но бедные, безвестные художники, которые разь-

езжают по стране, вынуждены тяжело трудиться и довольствоваться самыми скромными заработками. К сожалению, когда мы расплатимся здесь со всеми долгами, у нас останется совсем немного свободных средств, и придется искать прибежища в местах, где жизнь дешевле.

– В таком случае, – сказал добрый доктор (с какой радостью и гордостью я буду вспоминать, что он понравился мне с первого взгляда!), – в таком случае, когда будете подсчитывать здешние долги, не включайте в них плату за мои услуги. Не беспокойтесь, я могу подождать, пока мистер Керби поправится, а потом попрошу его нарисовать портрет моей дочурки. Тогда мы будем квиты, к полному обоюдному удовольствию.

Он с сочувствием пожал мне руку и попрощался, не дав мне высказать и половины слов благодарности, рвавшихся из моей груди. Никогда, никогда не забуду, что он избавил меня сразу от двух главных забот в самое тревожное время моей жизни. До чего же он добрый, до чего сострадательный! Я была готова упасть на колени и поцеловать его порог, когда шагнула за него и направилась к себе.

18-е. – Если бы после вчерашнего я не приняла твердое решение отныне и впредь взирать только на светлую сторону происходящего, события сегодняшнего дня лишили бы меня всякого присутствия духа в самом начале наших бедствий. Сначала нам пришлось подсчитать свои долги, а затем, когда мы сопоставили полученную сумму со всеми своими сбережениями, оказалось, что у нас после всех выплат останется фунта три-четыре. Затем я исполнила печальную обязанность пойти и предупредить домовладелицу, что мы уезжаем, – а ведь мы едва успели устроиться на новом месте. Если бы Уильям продолжал работать, мы бы могли остаться в этом городке и в этих чистых, уютных комнатах еще месяца три-четыре, не меньше. У нас еще никогда не было такой чудесной просторной мансарды, где играли дети, и я еще никогда не встречала квартирной хозяйки, с которой было настолько приятно делить кухню. А теперь придется отказаться от счастья и уюта и уехать... даже не знаю куда. Уильяму до того горько, что он поговаривает о работном доме; но этому не бывать, даже если мне придется пойти в служанки, лишь бы не допустить такого. Темнеет, а нам нужно экономить свечи, иначе бы могла я еще много написать. Ох! Тяжкий был день. С самого утра у меня выдалась лишь одна приятная минута, да и та утром, когда я поручила моей крошке Эмили сплести бисерный кошелек для дочки доброго доктора. Моя дочь не по летам искусно нижет бисер, и даже если знаком нашей благодарности послужит жалкий пустой кошелечек, это лучше, чем ничего.

19-е. – Визит нашего лучшего друга, нашего единственного друга в этих краях – доктора. Осмотрев глаза Уильяма и сообщив, что выздоровление оправдывает все надежды, доктор спросил, где мы собираемся поселиться. В самом дешевом жилье, какое удастся найти, ответила я – и добавила, что сегодня же собираюсь разузнать, не сдают ли чего-нибудь на соседних улицах.

– Не спешите с поисками, – сказал он, – пока я снова к вам не приду. Я сейчас собираюсь к больному в одной усадьбе в пяти милях отсюда (не смотрите с тревогой на детей, миссис Керби, это ничуть не заразно: просто неуклюжий деревенский парень свалился с лошади и сломал ключицу). Иногда в этой усадьбе берут жильцов, и я не вижу причин, почему бы им не взять вас. Если вы хотите жить в хорошем доме и хорошо столоваться за скромные деньги, если вам нравится общество простых, сердечных людей, то усадьба Эпплтривик для вас самое подходящее место. Не благодарите, пока не узнаете, удалось ли мне устроить вас на новую квартиру. А пока завершите все дела здесь, чтобы иметь возможность переехать в любую минуту.

С этими словами добрый джентльмен кивнул и вышел. О Небо, только бы ему удалось договориться в усадьбе! Если мы будем жить за городом, можно будет хотя бы не опасаться за здоровье детей.

Кстати, о детях: не могу не упомянуть, что Эмили уже почти доделала одну сторону бисерного кошелечка.

20-е. – Записка от доктора, который был занят и не успел зайти. Прекрасные новости! Семейство, живущее в усадьбе Эпплтривик, отводит нам две спальни и разрешает есть с ними за общим столом – и все за семнадцать шиллингов в неделю. По моим расчетам, когда мы расплатимся со всеми здешними долгами, у нас останется три фунта шестнадцать шиллингов. Для начала этого хватит на четыре недели жизни в усадьбе и еще останется восемь шиллингов. Я смогу брать заказы на вышивку и с легкостью выручить еще девять шиллингов – вот и пятая неделя. А за пять недель – учитывая, сколько всего я умею делать, – мы наверняка придумаем, как заработать немного денег. Вот что я постоянно твержу мужу и вот во что, благодаря постоянному повторению, поверила и сама. Уильям, бедняжка, смотрит в будущее не настолько беззаботно – и это естественно. По его словам, перспектива сидеть сложа руки и жить за счет жены долгие месяцы для него до того ужасна и безнадежна, что и не описать. Я пытаюсь подбодрить его, напоминая о долгих годах, когда он честно и тяжело трудился ради меня и детей, и о заверениях доктора, что со временем его глазам станет лучше и нынешняя немощ пройдет. Но Уильям все равно вздыхает и ворчит, до чего же ему претит стать обузой для жены: ведь он принадлежит к числу самых гордых и независимых людей на свете. На это я могу лишь ответить – и в это я верю всем сердцем, – что обещала быть с ним и в горе и в радости и у меня было много радостных лет и даже в нашем нынешнем бедственном положении нет ни малейших признаков приближения горя!

Бисерный кошелечек продвигается быстро. Синий с красным, в красивую полосочку.

21-е. – Хлопотливый день. Завтра мы отправляемся в Эпплтривик. Плачу по счетам, собираю вещи. Все новые холсты и живописные принадлежности бедного Уильяма аккуратно сложены в ящик. С какой грустью мой муж смотрел, молча сидя в зеленых очках, как исчезают его старые знакомые – рабочие инструменты, словно им никогда больше не доведется встретиться снова: у меня даже слезы навернулись на глаза, хотя, несомненно, я не из тех, кто часто плачет. К счастью, в зеленых очках он плохо видел меня, а я приложила все усилия – хотя едва не задохнулась от натуги, – чтобы он ни в коем случае не услышал, как я плачу.

Бисерный кошелечек готов. Где же взять стальные колечки для ручек и бахрому для него? Сейчас я не могу потратить без необходимости и шесть пенсов, даже на самое благое дело.

22-е. —

23-е. – *Усадьба Эпплтривик.* После нашего переезда я падала с ног от усталости и не смогла написать в дневник ни слова о нашем путешествии в это великолепное место. Но теперь, когда мы начали устраиваться, я могу отчасти восполнить пробелы.

Первое мое дело утром в день переезда, как ни странно, не имело отношения к сборам в усадьбу. Едва мы позавтракали, я постаралась нарядить Эмили почище и покрасивее, чтобы отправить ее к доктору с кошелечком. На ней было парадное шелковое платье – к сожалению, кое-где оно зашито, и это заметно, – и соломенная шляпка, украшенная лентой от моего чепца. Из отцовского шейного платка, хитроумно скрученного и завязанного, вышла прекрасная мантилья, и вот моя дочка отправилась к доктору маленькими, но твердыми шагами, зажав кошелечек в руке (ручки у Эмили прехорошенькие, и напрасно я огорчилась, что у меня не нашлось для нее перчаток). Кошелечек был принят с восторгом – не могу не упомянуть, что он был отделан белым бисером; мы нашли его, когда шарили в своих сундуках, и из него получились прекрасные ручки и бахрому: белый цвет премило оттеняет красные и синие полоски. Как я уже сказала, и доктор, и его дочь при виде подарка пришли в восторг и в свою очередь подарили Эмили рабочую шкатулку для нее и коробочку мармеладных конфет для ее малютки-сестры. Дочурка вернулась из гостей вся розовая от удовольствия и заметно улучшила настроение отца своим рассказом о визите. На том и заканчивается захватывающая история бисерного кошелечка.

К середине дня за нами прислали повозку из усадьбы, и она отвезла нас со всем багажом в Эпплтривик. Было по-весеннему тепло, и сердце у меня снова сжалось, когда я увидела, как

подсаживают в повозку бедного Уильяма, больного и понурого, и на нем в веселый солнечный денек эти несчастные зеленые очки.

– Одному Богу известно, Лея, сумеем ли мы все это преодолеть, – сказал он, когда мы тронулись в путь, а затем вздохнул и снова умолк.

На окраине городка нам повстречался доктор.

– Пусть вам сопутствует удача! – воскликнул он и торопливо, по своему обыкновению, отсалютовал тростью. – Я приду навестить вас, как только устроитесь в усадьбе.

– До свидания, сэра, – сказала Эмили и с огромным трудом попыталась встать среди тюков на дне повозки. – До свидания и еще раз спасибо за шкатулку и мармелад.

Настоящая дочь своей матери! Всегда найдется с ответом.

Доктор послал нам воздушный поцелуй и еще раз взмахнул тростью. Мы расстались.

Сколько удовольствия принесла бы мне поездка, если бы Уильям мог вместе со мной полюбоваться, как гнутся под сильным ветром молодые ели на вересковой пустоши, как проносятся тени по ровным полям, как плавно проплывают белые башни облаков пышной воздушной процессией в веселом голубом небе! Дорога была холмистая, я уговаривала паренька на козлах не слишком гнать коня, и ехали мы медленно – прошел почти час, прежде чем мы подкатили к воротам усадьбы Эпплтривик.

24 февраля – 2 марта. – Мы пробыли здесь достаточно долго и успели кое-что узнать о здешних местах и жителях. Сначала о местах: там, где сейчас стоит хозяйский дом, был когда-то знаменитый монастырь. Колокольня еще сохранилась, а большая зала, служившая монахам трапезной, сейчас отведена под амбар. Сам дом, очевидно, – тоже достроенные руины. Все комнаты в нем на разном уровне. Дети то и дело спотыкаются в коридорах, поскольку везде ступеньки то вверх, то вниз, и именно там, где особенно темно. Что до лестниц, то, по-моему, у каждой спальни есть своя. Я постоянно теряюсь в этом доме, а хозяин смеется: мол, для меня во всем доме, сверху донизу, надо на каждом углу повесить указатели. Внизу, кроме обычных хозяйственных помещений, у нас парадная гостиная – темная, душная, дорого обставленная безлюдная комната, в которую никто никогда не заходит, – а также кухня и нечто вроде залы с камином, огромным, как в гостиной в городском доме, где мы жили. Здесь мы проводим весь день и собираемся за столом, здесь дети могут резвиться до упаду, сюда то и дело забредают собаки, если им случается сорваться с привязи, здесь рассчитываются с работниками, принимают гостей, коптят бекон, пробуют сыр, курят трубки и дремлют каждый вечер мужчины из хозяйского семейства. Мир не знал такого уютного, приветливого обиталища, как эта зала; у меня уже возникло ощущение, будто здесь прошла половина моей жизни.

Если выйти из дома и оглядеться, видно, что за цветником, лужайкой, задними дворами, голубятнями и огородами нас окружает целая сеть ровных пастбищ, и каждое отделено опрятной живой изгородью с крепкими воротами. За полями в голубые дали плавной чередой уходят холмы, сливаясь с мягким сиянием неба. Из окна нашей спальни видно то место, где они заканчиваются и резко переходят в низину, и за зеленой болотистой равниной просматривается далекая полоса моря – иногда эта полоса синяя, иногда серая, иногда, на закате, словно пожар, а иногда, в пасмурные дни, – будто яркий серебристый свет.

Жители усадьбы обладают одной редкой и прекрасной чертой: с ними сразу можно подружиться. Вот только что мы были совсем незнакомы – и уже на дружеской ноге и искренне улыбаемся друг другу при каждой встрече, причем произошло это вмиг, безо всяких стадий сближения, требуемых формальным этикетом. Они приняли нас по прибытии словно давних друзей, вернувшихся из длительного путешествия. Мы не провели в зале и десяти минут, а Уильяму уже поставили в самый уютный уголок самое удобное кресло; дети сидели на подоконнике и уплетали хлеб с вареньем; а я гладила кошку, которая улеглась мне на колени, и рассказывала хозяйке усадьбы, как Эмили болела корью.

В семье семь человек, не считая, разумеется, работников, постоянно живущих при доме. Во-первых, хозяин и хозяйка: он – высокий, плечистый, голосистый и деятельный старик, а она – самая приветливая, самая пухленькая и самая веселая женщина шестидесяти лет, какую я только видела. У них трое сыновей и две дочери. Двое старших сыновей работают в усадьбе, третий – моряк, но по счастливой случайности именно сейчас прибыл в усадьбу в отпуск. Дочери – воплощенное здоровье и свежесть. Могу пожаловаться только на одно: они уже принялись баловать детей.

До чего же счастливо жилось бы мне в этом спокойном месте, среди этих искренних, простых людей, если бы не печальное зрелище недуга Уильяма и изнурительная неопределенность – ведь мы не знаем, где взять средства к дальнейшему существованию. И до чего же тяжело нам с мужем после целого дня, проведенного так приятно благодаря добрым словам и дружеским услугам, терзаться мыслью, которая особенно настойчиво преследует нас по ночам: будут ли у нас через месяц деньги, чтобы остаться в новом доме?

3-е. – Зарядил дождь; дети не слушаются; Уильям в грусти и унынии. То ли его настроение передалось мне, то ли мелкие неприятности с детьми утомили меня сильнее обычного, – так или иначе, на сердце у меня еще ни разу не было настолько тяжело с тех пор, как муж надел зеленые очки. Меня одолели безнадежность и безразличие – но к чему писать об этом? Лучше попытаться забыть. Когда сегодня все идет хуже некуда, всегда можно уповать на завтра.

4-е. – Завтра оправдало все мои надежды. На улице снова солнце, и оно отражается в моем сердце донельзя верно и ясно – на большее я не могла бы и надеяться. О, этот месяц, один жалкий месяц передышки! Что мы будем делать, когда он подойдет к концу?

5-е. – Краткую запись за вчерашний день я сделала перед чаем и не подозревая, какие события суждено нам пережить вечером, а между тем они, безусловно, достойны запечатления, поскольку непременно приведут к великолепным результатам. Знаю, я склонна относиться ко всему излишне сангвинически, и тем не менее я твердо убеждена, что открыла новый выход из нашего нынешнего затруднительного положения – способ найти достаточно денег на уютную жизнь в усадьбе для всех нас, пока к глазам Уильяма не вернется здоровье.

И этот новый план, призванный избавить нас ото всех неопределенностей на ближайшие полгода, я придумала сама! Я даже подросла в своих глазах на несколько дюймов. Если только доктор, который приедет завтра, согласится с моей картиной происходящего, уговорить Уильяма будет нетрудно, я уверена, а потом пусть говорят что хотят – я за все отвечаю.

Вот как зародилась у меня в голове эта новая мысль.

Мы закончили пить чай. Уильям, который был бодрее обычного, беседовал с молодым моряком, которого здесь в шутку прозвали Дик-Непогода – очень неприятная кличка. Хозяин с двумя старшими сыновьями, по своему обыкновению, устроились на дубовых скамьях вздремнуть. Хозяйка дома вязала, а две ее дочери убирали со стола; я штопала детские носки. С какой стороны ни взгляни, положение вещей не слишком располагало к озарениям, и все же, несмотря ни на что, озарение посетило меня именно тогда. Молодой моряк обсуждал с моим мужем различные темы, связанные с жизнью на корабле, и начал описывать свой гамак – рассказал, как именно он подвешен и почему забраться в него можно лишь «кормой вперед» (ума не приложу, что это значит), и упомянул, что в качку там спится словно в колыбели, а иногда, в бурные ночи, гамак до того раскачивается, что с силой бьется о борт, и тогда лежащий в нем моряк просыпается с чувством, будто его огрели по голове на диво крепким кулаком. Слушая все это, я отважилась предположить, что для него, должно быть, большое облегчение выспаться на берегу в хорошей, неподвижной, надежной кровати под балдахинном. Однако, к моему изумлению, на это моряк только посмеялся, – оказывается, без гамака сон у него не тот, а без ударов головой о борт он даже скучает; в заключение моряк самым презабавным образом описал неприятные ощущения, которые возникают у него, когда он спит в кровати под балдахинном. Удивительная природа возражений молодого моряка против манеры спать

на суше напомнила моему мужу (и, разумеется, мне самой) ужасную историю одной кровати во французском игорном доме, которую Уильяму рассказал как-то раз джентльмен, портрет которого он писал.

– Вы смеетесь надо мной, – сказал честный Дик-Непогода, заметив, что Уильям с улыбкой повернулся ко мне.

– Нет, ничуть, – ответил мой муж. – И уж мне-то ваши возражения против кроватей с балдахинном определенно не кажутся смешными. Я когда-то знал одного джентльмена, Дик, которому довелось испытать на практике все то, о чем вы говорите.

– Извините, сэр, – сказал Дик, немного помолчав, и на лице его читалось крайнее изумление и любопытство. – Не могли бы вы объяснить простым языком, чтобы вас сумел понять даже простой парень вроде меня, что это была за практика такая?

– Конечно! – рассмеялся мой муж. – Я имел в виду, что когда-то знал одного джентльмена, который видел и ощущал все то, чего вы в шутку опасаетесь, когда спите на кровати под балдахинном. Понимаете?

Дик-Непогода прекрасно все понял и с жаром попросил рассказать ему о приключениях этого джентльмена. Хозяйка дома, слушавшая наш разговор, поддержала просьбу сына, девушки с выжидательным видом сели за чайный стол, убранный только наполовину, и даже сам хозяин и его сонные сыновья лениво приподнялись на скамьях; тогда муж понял, что уклониться от рассказа уже нельзя, и без проволочек приступил к делу.

Я часто слышала, как он описывает эти поразительные приключения (Уильям – лучший в мире рассказчик) нашим друзьям из самых разных кругов во всех уголках Англии, и не помню ни одного случая, чтобы эта история не произвела должного впечатления. А наши слушатели из усадьбы, скажу без преувеличения, слушали словно замороженные. Я в жизни не видела, чтобы люди так долго смотрели в одном направлении и так долго не меняли позы. Даже слуги улучили минутку от своей работы в кухне, чтобы послушать, и зачарованно застыли на пороге, не опасаясь упреков хозяина или хозяйки. И когда я молча наблюдала эту картину, пока муж продолжал рассказ, меня внезапно осенила блестящая мысль. «Вот бы у Уильяма появилось больше слушателей, которым он мог бы рассказать и эту историю, и прочие, ведь модели сплошь и рядом рассказывают ему что-то занятное, а он до сих пор пересказывал это только в узком кругу, среди нескольких друзей! Между тем многие издают свои истории в виде книг и получают за них деньги. Может быть, и нам стоит записать свои истории и сделать из них книгу? Может быть, эта книга станет хорошо продаваться? Это, несомненно, освободило бы нас от одной из главных забот, которые не дают нам покоя! И принесло бы достаточно денег, чтобы остаться в усадьбе, пока состояние глаз Уильяма не улучшится и он не сможет снова работать!» Когда мои мысли приняли этот оборот, я едва не вскочила с кресла. Интересно, когда великие ученые совершают чудесные открытия, у них возникает такое же ощущение, как у меня? Хотелось ли сэру Исааку Ньютону подпрыгнуть в воздух, когда он открыл закон всемирного тяготения? Потянуло ли в пляс брата Бэкона¹, когда он зажег спичку и услышал, как взорвался первый в мире пороховой заряд?

Мне пришлось изо всех сил сдерживаться, иначе я посвятила бы Уильяма в свои планы прямо при наших друзьях из усадьбы. Но я понимала, что лучше дождаться, пока мы не останемся наедине, и дождалась. Какое было облегчение, когда мы все наконец встали и пожелали друг другу спокойной ночи!

Едва мы очутились в своей комнате, я заговорила, не успев отколотить и булавки от платья.

¹ *Роджер Бэкон* (ок. 1214–1292) – английский ученый, профессор богословия, был монахом-францисканцем. Согласно легенде, он в XIII в. открыл состав пороха, но, поняв его разрушительную силу, записал формулу пороха с помощью шифра, который никому не удалось расшифровать. В действительности, Бэкон первым из европейцев упомянул о порохе в одном из своих писем. – *Здесь и далее примеч. ред.*

– Дорогой, – начала я, – мне еще не доводилось слышать, чтобы вы так прекрасно рассказывали историю об игорном доме. Какое впечатление она произвела на наших друзей! И какое впечатление она производит всякий раз, когда вы ее рассказываете, если уж на то пошло!

Поначалу Уильям не обратил особого внимания на мои слова. Только кивнул и начал наливать примочку, которой всегда промывает свои бедные глаза перед сном.

– Кстати, Уильям, – продолжала я. – Похоже, все ваши истории очень интересны слушателям. И ведь за пятнадцать лет практики портретиста их набралось очень много! Вы когда-нибудь задумывались, сколько историй знаете?

Нет, он не берется сразу назвать точное число. Это он ответил самым безразличным тоном, промокая глаза губкой с примочкой. Делал он это донельзя неловко и грубо – по крайней мере, мне так показалось, – и я забрала у него губку и бережно нанесла примочку сама.

– Как вы думаете, – сказала я, – если бы вы тщательно разобрали в уме какую-нибудь из своих историй, да хотя бы и ту, к примеру, которую вы рассказали сегодня, смогли бы вы повторить ее мне настолько точно и последовательно, чтобы я сумела все записать под вашу диктовку?

Уильям ответил, что, разумеется, смог бы, но к чему такой вопрос?

– К тому, что мне бы хотелось красиво записать все те истории, которые вы часто рассказываете нашим друзьям, и сохранить на случай, если мы их когда-нибудь забудем.

На это муж попросил меня помочь промыть левый глаз, поскольку его особенно сильно жжет.

«Раз мои слова ему безразличны, и чем дальше, тем сильнее, в итоге он попросту уснет прежде, чем я успею развить свою мысль, – подумала я, – поэтому мне необходимо найти средство расшевелить его любопытство, иначе говоря, разбудить мужа и привести его в должное состояние заинтересованного внимания».

– Уильям, – заявила я, решив не тратить времени и сил на предисловия, – у меня есть новый план, как нам найти денег, чтобы остаться здесь жить.

Он тут же вскинул голову и посмотрел на меня. Что за план?

– Вот он: состояние глаз не позволяет вам сейчас заниматься своим ремеслом художника, верно? Хорошо. Как же вы распорядитесь досугом, дорогой? Станете писателем! И откуда мы получим желанные деньги? Опубликуем книгу!

– Силы небесные, Лея! Вы в своем уме? – воскликнул он.

Я обняла его за шею и села ему на колени (этот способ неизменно помогает мне, когда нужно в чем-нибудь его убедить без лишних слов).

– Уильям, наберитесь терпения и выслушайте меня, – сказала я. – Беда художника именно в том, что он легко может стать жертвой случайностей: талант ему ни к чему, если нельзя задействовать глаза и пальцы. А для воплощения писательского таланта годятся не только свои, но и чужие глаза и пальцы. Поэтому в нашем нынешнем положении у вас, как я уже упоминала, остается лишь один выход – стать писателем. Подождите! И выслушайте меня. Книга, о которой я говорю, – это сборник всех ваших рассказов. Вы их повторите, а я запишу под вашу диктовку. Нашу рукопись опубликуют; мы продадим книгу читателям и таким образом с честью обеспечим себя на это трудное время, сделав все возможное, чтобы развлечь и заинтересовать ближнего.

Пока я все это говорила – должно быть, с превеликим волнением, – мой муж смотрел на меня, как выразился бы наш юный друг-моряк, несколько *огорошенно*.

– Вы всегда отличались быстрым умом, Лея, – проговорил он, – но как же вам удалось придумать подобный план?

– Мне это пришло в голову, когда вы внизу рассказывали всем о приключениях в игорном доме, – ответила я.

– Это смело, и это изобретательно, – задумчиво продолжал он. – Но одно дело – рассказывать интересную историю в кругу друзей, а облечь ее в письменную форму для незнакомых читателей – совсем другое. Не забывайте, дорогая: мы с вами не умеем, как говорится, писать для печати.

– Безусловно, – сказала я, – как и все остальные писатели, когда берутся за перо в первый раз. Однако же очень многие отваживались на литературные опыты и добивались успеха. Кроме того, в нашем случае у нас есть готовые материалы, и нам, несомненно, по силам придать им презентабельный вид, ведь наша цель – простая истина, и больше ничего.

– А кто будет сочинять красочные описания и остроумные рассуждения и так далее? – спросил Уильям, озадаченно качая головой.

– Никто! – отвечала я. – Красочные описания и остроумные рассуждения в сборниках занимательных рассказов никто никогда не читает. Что бы мы ни делали, давайте постараемся по возможности не написать ни единого предложения, которое читатель мог бы с легкостью пропустить. Ну же, ну же! – продолжала я, поскольку он снова принялся качать головой. – Хватит возражений, Уильям, они меня не остановят, ведь я совершенно уверена в успехе своего плана. Если вы все еще сомневаетесь, посоветуемся о нашем проекте с кем-нибудь сведущим. Завтра к вам придет доктор. Я расскажу ему все то же, что и вам, и, даю вам честное слово, буду строго руководствоваться его мнением, если и вы пообещаете мне то же самое.

Уильям улыбнулся и тут же дал слово. Лучшего я и желать не могла и легла спать с легким сердцем. Ведь я, разумеется, не предложила бы взять в советчики доктора, если бы не знала заранее, что он наверняка примет мою сторону.

б-е. – Наш советчик оправдал мое доверие. Едва я успела объяснить ему, в чем заключается мой новый проект, он заявил, что полностью меня поддерживает. А когда муж попытался рассказать ему о своих сомнениях и о трудностях, которые он предвидит, наш дорогой добрый друг не захотел даже слушать его.

– Никаких возражений, – весело воскликнул он. – За работу, мистер Керби, и сделайте себе состояние. Я всегда говорил, жена у вас – чистое золото, и вот теперь она готова взойти на весы книготорговца и это доказать. За работу, за работу!

– Со всей душой, – ответил Уильям, начав наконец заражаться нашим пылом. – Но когда мы с женой сделаем свою часть работы, как нам дальше поступить с плодом своего труда?

– Положитесь на меня, – ответил доктор. – Закончите книгу и пошлите ее мне домой, а я сразу же покажу ее редактору нашей сельской газеты. У него в Лондоне много знакомых в литературных кругах, и он и есть тот человек, который вам поможет. А кстати, – добавил доктор, обращаясь ко мне. – Вы все продумали, миссис Керби; но сочинили ли вы название для вашей новой книги?

Когда я услышала этот вопрос, настала моя очередь быть «огорошенной». Мне и в голову не приходило, что книгу нужно назвать.

– Хорошее название – это очень важно. – Доктор задумчиво нахмурился. – Нам всем следует об этом подумать. Как же мы назовем ее? Как же мы назовем ее, а, миссис Керби?

– Возможно, нас осенит, когда мы основательно примемся за работу, – предположил мой муж. – Кстати, о работе. – Он повернулся ко мне. – Лея, где вы найдете столько времени, свободного от забот о детях, чтобы записывать мои рассказы?

– Я уже думала об этом утром, – отвечала я, – и пришла к заключению, что днем у меня редко выдается свободная минутка и я вряд ли смогу писать под вашу диктовку. У меня столько хлопот – мыть и одевать детей, учить их, кормить, водить гулять, находить им занятия дома, не говоря уже о том, чтобы по-дружески посидеть за рукоделием с хозяйкой и ее дочерьми после обеда, поэтому, к сожалению, от завтрака до вечернего чая у меня не будет особой возможности выполнять свою часть работы над книгой. Но потом, когда дети отправятся спать, а хозяин с семейством сядут за чтение или улягутся подремать, у меня будет по меньшей мере

три свободных часа. А значит, если вы не возражаете отложить работу над книгой на вечер, когда опускается ночь...

– Вот оно, название! – воскликнул доктор и вскочил с кресла, будто подстреленный.

– Где? – воскликнула я и от неожиданности завертела головой, будто рассчитывала увидеть магические письма, явленные нам на стенах комнаты.

– В ваших последних словах, естественно! – отвечал доктор. – Вы сами сейчас сказали: время писать под диктовку мистера Керби у вас появится только поздно вечером. Что может быть лучше, чем назвать книгу по тому времени, когда ее писали? Назовите ее так: «Когда опускается ночь». Стойте! Прежде чем кто-нибудь скажет хоть слово против, посмотрим, как выглядит это название на бумаге.

Я в спешке открыла свой секретер. Доктор выбрал самый большой лист бумаги и толще всех очиненное перо и великолепным рондо, чередуя тонкие и жирные штрихи с изяществом, радовавшим глаз, вывел три заветных слова:

Когда опускается ночь

Мы втроем склонились над бумагой и, не дыша, изучали воздействие рондо. Уильям даже поднял зеленые очки от волнения и, в сущности, нарушил советы доктора, который запрещал ему напрягать глаза, причем прямо в присутствии доктора!

Насмотревшись вдоволь, мы торжественно переглянулись и кивнули. Зрелище рондо развеяло последние сомнения. Один счастливый миг – и доктор угадал самое верное название.

– Я сделал вам титульный лист, – сказал наш добрый друг и взял шляпу, готовясь уйти. – А теперь оставляю вас вдвоем – пишите книгу.

Затем я очинила четыре пера и купила в деревенской лавке пачку писчей бумаги. Днем Уильям должен основательно продумать свою историю, чтобы, «когда опустится ночь», быть в моем распоряжении. Взяться за наше новое предприятие нам предстоит сегодня вечером. Сердце у меня колотится, на глаза наворачиваются слезы, стоит мне об этом подумать. Сколько самого драгоценного для нас зависит от одного скромного начинания, которое предстоит нам сегодня вечером!

Пролог к первому рассказу

Прежде чем я начну при содействии терпения, внимания и быстрого пера моей жены излагать истории, которые я услышал в разное время от тех, кто заказывал мне свой портрет, не будет лишним попытаться завладеть вниманием читателя на следующих страницах кратким пояснением, как я стал обладателем сюжетов, положенных в их основу.

О себе мне сказать нечего, кроме того, что я вот уже пятнадцать лет занимаюсь ремеслом странствующего портретиста. Призвание не только позволило мне объехать всю Англию, но и дважды завело меня в Шотландию и один раз – в Ирландию. Переезжая с места на место, я никогда не строю планов. Иногда мои путешествия определяются рекомендательными письмами, которые я получал от заказчиков, довольных моей работой. Иногда до меня доходят слухи, что там-то и там-то нет своих талантливых художников, и я, подумав, решаю поехать туда. Иногда моим друзьям среди торговцев живописью случается замолвить за меня слово перед богатыми покупателями и тем самым проложить мне дорогу в большие города. Иногда мои собратья-художники, богатые и знаменитые, получив скромный заказ, соглашались на который не видят смысла, упоминают мое имя и обеспечивают мне приглашение в уютные загородные поместья. Вот я и странствую где придется, и, хотя я не стяжал себе ни имени, ни богатства, в целом мне живется, пожалуй, счастливее, чем тем, у кого есть и то и другое. По крайней мере, так я стараюсь думать сейчас, хотя в юности, в начале жизненного пути, не уступал в честолюбии лучшим из них. Слава богу, сейчас я не обязан рассказывать о прошлом и разочарованиях, которые оно принесло. Меня и сейчас временами беспокоит старая отчаянная сердечная боль, когда я вспоминаю дни студенчества.

Особенность моей нынешней жизни, в частности, в том, что она сталкивает меня с самыми разными типажам. Иногда мне представляется, будто я уже успел написать представителей всех разновидностей цивилизованной части рода человеческого. Вообще говоря, жизненный опыт, даже самый горький, не приучил меня недоброжелательно думать о своих собратях. Несомненно, от иных моих заказчиков я терпел обращение, которого не стану даже описывать, поскольку не хочу огорчать и обескураживать добросердечного читателя, однако, сравнивая годы и места, я вижу причины вспоминать с благодарностью и уважением, а иногда и с теплыми дружескими чувствами весьма существенную долю из множества моих нанимателей.

Некоторые стороны моего жизненного опыта любопытны с точки зрения нравов. Например, я обнаружил, что женщины почти неизменно выясняли мои условия менее деликатно, нежели мужчины, а вознаграждали меня за услуги менее щедро. С другой стороны, мужчины, по моим наблюдениям, явно трепетнее женщин относятся к своей внешней привлекательности, а поскольку она их настолько тревожит, более озабочены тем, чтобы им в полной мере воздали должное на холсте.

Молодежь обоего пола, насколько я могу судить, – по большей части мягче, рассудительнее и сострадательнее стариков. А в целом, подводя общий итог своему опыту общения с разными слоями общества (а круг моих знакомств, смею заметить, охватывает всех, от пэров до трактирщиков), могу сказать, что самый холодный и нелюбезный прием мне оказывали богатые люди неопределенного общественного положения, а представителям высших и низших классов среди моих заказчиков почти всегда удавалось – разумеется, каждому по-своему – добиться, чтобы я почувствовал себя у них как дома, едва переступив порог.

Главнейшая трудность, которую я вынужден преодолевать в работе, состоит, вопреки расхожему мнению, отнюдь не в том, чтобы заставить модель держать голову неподвижно, пока я ее пишу, а в том, чтобы она выглядела непринужденно и сохраняла присущие ей особенности в повседневной манере держаться и одеваться. Все норовят придать лицу деланое выра-

жение, пригладить волосы, исправить мелкие, но такие характерные небрежности в платье – короче говоря, требуют от художника похожего портрета, а позируют будто для парадного. Если я напишу их в подобной искусственной обстановке, портрет с неизбежностью выйдет неестественным и, разумеется, не понравится никому, в первую очередь заказчику. Когда мы хотим судить о характере человека по его почерку, нам нужны его обычные каракули, наспех оставленные привычным рабочим пером, а не надпись старательным мелким почерком, выполненная при помощи лучшего стального пера, какое только можно достать. То же самое и с портретами – в сущности, портрет и есть верное прочтение внешних проявлений характера, представленное на всеобщее обозрение узнаваемым образом.

После множества проб и ошибок опыт научил меня, что единственный способ заставить модель, которая упорно строит театральную мину, вернуться к привычному выражению – это натолкнуть ее на разговор о предмете, который сильно занимает ее. Стоит мне отвлечь собеседника настолько, чтобы он заговорил серьезно – о чем угодно, – и я непременно выявлю его естественное выражение, непременно увижу все те драгоценные мелкие особенности живого человека, которые вынырнут одна за другой без ведома их обладателя. Долгие путанные рассказы ни о чем, утомительные перечисления мелочных обид, местные анекдоты, несмешные и никому не интересные, которые я был обречен выслушивать лишь для того, чтобы растопить лед на чертах чопорных моделей описанным выше методом, заняли бы сотню томов и навяли бы сон на тысячу читателей. С другой стороны, даже если мне и довелось пострадать от занудства многих моделей, я не остался без возмещения и был вознагражден мудростью и опытом немногих. Одним своим моделям я обязан сведениями, расширившими мой кругозор, другим – советами, облегчившими мое сердце, а третьим – рассказами об удивительных приключениях, которые во время работы завладели моим вниманием, затем много лет увлекали и забавляли кружок моих слушателей у камина, а сейчас, смею надеяться, стяжают мне добрых друзей среди широкой публики – к такой большой аудитории я еще никогда не обращался.

Как ни поразительно, но почти все лучшие рассказы, которые я слышал от своих моделей, были поведаны мне случайно. Припоминаю лишь два случая, когда модели сами вызвались рассказать мне что-то, и сколько я ни пытался, мне не удалось пробудить в памяти ни единого раза, когда наводящие вопросы (по выражению законников) с моей стороны, обращенные к модели, приводили к результату, достойному пересказа. Мне раз за разом удавалось с сокрушительным для меня успехом убеждать скучных людей навевать на меня тоску. Однако умные люди, у которых есть в запасе много интересного, насколько мне удалось наблюдать, не признают иных побуждений, нежели случай.

Всеми историями, которые я намереваюсь включить в этот сборник, кроме одной, я обязан в первую очередь капризам этого самого случая. Что-то такое, что видели модели во мне, или что-то, что я сам говорил о модели, о комнате, где писал портрет, о местах, где проходил по пути на работу, вызывало необходимые ассоциации или обрушивало целый ливень воспоминаний – и тогда история начиналась сама по себе. А подчас дороге долгому и увлекательному рассказу открывало самое небрежное замечание с моей стороны о самом малообещающем предмете. Один из увлекательнейших рассказов, которому предстоит войти в эту книгу, я услышал, когда мимоходом поинтересовался историей чучела пуделя.

Поэтому я не без причины настаиваю на необходимости снабдить каждый из следующих рассказов прологом, где я дам краткое описание любопытного случая, благодаря которому услышал его. Что касается моей способности точно пересказать эти истории, то на мою память можно полагаться, заверяю вас со всей ответственностью. Более того, я даже считаю своим достоинством – ведь это просто механический навык, – что я никогда ничего не забываю и могу пробуждать в памяти давние разговоры и события с такой легкостью, словно они произошли всего месяц назад. Размышляя о содержании этой книги, я относительно уверен в двух вещах: во-первых, я способен точно передать все услышанное, а во-вторых, я никогда не

упускал ничего достойного быть услышанным, когда мои модели рассказывали мне о каком-либо занятом предмете. Хотя я не в состоянии вести разговор, когда занят живописью, я могу слушать других, и это даже помогает в работе.

На этом закончим общее предисловие к страницам, к которым я намерен привлечь благосклонное внимание читателя. Теперь позвольте перейти к частностям и описать, при каких обстоятельствах мне довелось услышать первый рассказ из настоящего сборника. Я начну с него, поскольку это рассказ, который я чаще всего «репетировал», выражаясь театральным языком. Рано или поздно я рассказываю его везде, где появляюсь. Вот только вчера вечером меня попросили повторить его в очередной раз обитатели усадьбы, где я остановился.

Несколько лет назад, когда я вернулся из короткой увеселительной поездки к другу в Париж, у моего лондонского агента меня ожидали деловые письма, требующие немедленного присутствия в Ливерпуле. Я даже не стал распаковывать багаж и с первым же экипажем отправился в Ливерпуль, а там в лавке торговца живописью, куда направляли заказы на портреты для меня, к своему великому удовольствию, обнаружил, что могу рассчитывать на весьма прибыльную работу в самом городе и его окрестностях по крайней мере на ближайшие два месяца. Я в большом воодушевлении составил ответные письма и уже собирался покинуть лавку торговца и отправиться искать удобное жилье, но столкнулся на пороге с владельцем одной из крупнейших ливерпульских гостиниц – старым знакомым, которого я в студенческие годы знал еще лондонским трактирщиком.

– Мистер Керби! – воскликнул он в полнейшем изумлении. – Какая неожиданная встреча! Вот уж кого не ожидал увидеть – и тем не менее вы именно тот, чьи услуги мне сейчас необходимы!

– Что, неужели и у вас есть для меня работа? – спросил я. – Всем ливерпульцам понадобились портреты?

– Я знаю только одного, – отвечал мой давний приятель. – Этот господин остановился у меня в гостинице и хочет заказать свой портрет пастелью. Я направлялся сюда узнать, не порекомендует ли мне наш друг-торговец какого-нибудь художника. До чего же я рад, что встретил вас, не успев нанять кого-то незнакомого!

– Он хочет получить портрет срочно? – спросил я, вспомнив о множестве заказов, которые уже лежали у меня в кармане.

– Немедленно, сегодня, сей же час, если это возможно, – ответил владелец гостиницы. – Мистер Фолкнер – джентльмен, о котором я говорю, – должен был еще вчера отплыть отсюда в Бразилию, однако за ночь ветер переменялся на противоположный, и утром ему пришлось сойти на берег. Разумеется, нельзя исключать, что он пробудет здесь некоторое время, но его могут вызвать на борт и через полчаса, если снова подует попутный ветер. Из-за этой неопределенности он и стремится начать портрет немедленно. Если получится, возьмитесь за эту работу, поскольку мистер Фолкнер – джентльмен широких взглядов и, несомненно, согласится на любые ваши условия.

Я поразмыслил минуты две. Заказчик хотел портрет пастелью, это не займет много времени, кроме того, я смогу закончить его вечером, если другие договоренности отнимут весь день. А тогда почему бы мне не оставить багаж у торговца живописью, не отложить поиски жилья до вечера и не взяться за новый заказ без проволочек, отправившись в гостиницу вместе с ее владельцем? Едва эта мысль пришла мне в голову, я решил тут же приняться за дело: положил в карман коробку пастели, взял из первой попавшейся папки лист бумаги для рисования и буквально через пять минут был представлен мистеру Фолкнеру, готовому позировать для портрета.

Мистер Фолкнер оказался умным и приятным человеком, молодым и красивым. Он был известный путешественник, повидал все чудеса Востока, а теперь собирался исследовать нехо-

женные области южноамериканского континента. Все это он приветливо и открыто поведал мне, пока я подготавливал принадлежности для рисования.

Едва я успел усадить его в нужном положении и при нужном свете и устроиться напротив, он сменил предмет беседы и спросил меня – мне подумалось, несколько смущенно, – не принято ли среди портретистов заглаживать недостатки лиц моделей и по возможности подчеркивать все хорошее, чем отличаются их черты.

– Безусловно, – ответил я. – Вы в нескольких словах описали самую суть загадочного искусства хорошего портретиста.

– Тогда позвольте попросить вас в моем случае отойти от обычной практики и изобразить меня со всеми недостатками, в точности как есть. Видите ли, – продолжил он, немного помолчав, – портрет, который вы готовитесь нарисовать, предназначен для моей матери. Из-за кочевого образа жизни я стал для нее причиной постоянных тревог, и в этот раз она расставалась со мной с большой грустью и неохотой. Сам не знаю почему, но утром я вдруг подумал, что нет лучше способа распорядиться этим временем, пока я жду на берегу, нежели заказать портрет и отправить ей на память. У нее есть только мои детские портреты, и она оценит подобный рисунок куда выше, чем любые другие мои подарки. Я обременяю вас объяснениями с единственной целью доказать, что мое желание быть изображенным безо всякой лести, как есть, и в самом деле искреннее.

В глубине души я проникся уважением и восхищением к нему за эти слова, а вслух пообещал строго последовать его указаниям и немедленно приступил к рисованию. Не успел я провести за работой и десяти минут, как разговор у нас иссяк, и между нами встало обычное препятствие моей успешной работе с моделью. Мистер Фолкнер – разумеется, совершенно неосознанно – напряг шею, сжал губы и сдвинул брови, – должно быть, он руководствовался убеждением, будто облегчит процесс рисования портрета, если постарается сделать лицо похожим на безжизненную маску. Все следы его природной живости стремительно таяли, и он начал превращаться в человека тяжелого и склонного к меланхолии.

Эта кардинальная перемена не играла особой роли, пока я лишь намечал общие контуры лица и набрасывал черты. Поэтому я прилежно трудился более часа, а потом вышел в очередной раз очинить карандаши и дать молодому человеку отдохнуть несколько минут. До сих пор ошибочная убежденность мистера Фолкнера в том, как положено позировать для портрета, не успела дурно сказаться на рисунке, однако я прекрасно понимал, что вот-вот начнутся трудности. Нечего было и мечтать сделать рисунок сколько-нибудь выразительным, пока я не придумаю ловкий способ заставить заказчика снова стать самим собой, когда он сядет в кресло. «Поговорю с ним о дальних странах, – решил я. – Вдруг тогда мне удастся заставить его забыть, что он позирует».

Пока я очинял карандаши, мистер Фолкнер прохаживался по комнате. Он увидел папку, которую я принес с собой и прислонил к стене, и спросил, нет ли там каких-нибудь набросков. Я ответил, что в ней лежат рисунки, которые я сделал во время недавней поездки в Париж.

– В Париж? – повторил он, явно заинтересовавшись. – Разрешите посмотреть?

Естественно, я согласился. Он сел, положил папку на колени и начал просматривать. Первые пять рисунков он перевернул довольно скоро, но, когда дошел до шестого, я увидел, как его лицо вспыхнуло, он достал рисунок из папки, поднес к окну и целых пять минут простоял молча, погруженный в созерцание. Затем он повернулся ко мне и с тревогой спросил, не соглашусь ли я расстаться с этим рисунком.

Это был самый скучный рисунок из всех парижских – всего лишь вид на одну из улочек, идущих вдоль задворков Пале-Рояль². На рисунке было изображено четыре или пять домов, и он не представлял для меня особой пользы и при этом был настолько лишен ценности как

² Пале-Рояль – дворец и парк в Париже.

произведение искусства, что я и не думал его продавать. Я тут же попросил мистера Фолкнера принять его в подарок. Он очень тепло поблагодарил меня, а затем, заметив мое удивление странным выбором, который он сделал из всех моих рисунков, со смехом предложил угадать, почему ему так сильно захотелось получить набросок, который я ему подарил.

– Вероятно, – ответил я, – с этой улочкой на задворках Пале-Рояль связаны какие-то примечательные исторические события, о которых я не знаю.

– Нет, – сказал мистер Фолкнер, – по крайней мере, мне ничего такого не известно. В моей памяти это место пробуждает исключительно личные воспоминания. Взгляните вот на этот дом на вашем рисунке, тот, у которого по стене сверху донизу идет водосточная труба. Однажды мне довелось провести там ночь – ночь, которую не забуду до самой смерти. У меня было в путешествиях много всяческих злоключений – но такого!.. Впрочем, не важно, давайте начнем работу. Я проявил бы неблагодарность к вашей доброте, если бы заставил впустую потратить время на разговоры и в придачу еще и выпросил рисунок.

«Говорите-говорите! – подумал я, когда он сел обратно в кресло. – Если мне удастся заставить вас рассказать об этом приключении, я увижу на вашем лице естественное выражение».

Подтолкнуть мистера Фолкнера в нужном направлении оказалось несложно. Стоило мне лишь намекнуть, и он вернулся к теме дома на задворках Пале-Рояль. Надеюсь, я сумел, не проявляя неуместного любопытства, показать ему, что его слова живо заинтересовали меня. После двух-трех несмелых вступительных фраз он наконец, к моей великой радости, принялся рассказывать о своем приключении как полагается. Эта тема захватила его, и наконец он совершенно забыл, что позирует для портрета, а значит, лицо его приняло то самое выражение, которого я добивался, и моя работа двинулась к завершению в нужном направлении, что позволяло надеяться на наилучший результат. С каждым штрихом я все больше и больше убеждался, что преодолел свою главную трудность, и получил дополнительную награду – работу мне облегчило изложение подлинной истории, которая, по моему мнению, по увлекательности не уступит самой увлекательной выдумке.

Вот как, по моим воспоминаниям, рассказал мне мистер Фолкнер о своих приключениях.

Рассказ путешественника о жуткой кровати

Вскоре после завершения образования в колледже я очутился в Париже в компании друга-англичанина. Мы оба были тогда молоды и, оказавшись ненадолго в этом восхитительном городе, вели, увы, довольно буйную жизнь. Однажды ночью мы празднично гуляли в окрестностях Пале-Рояль и не могли решить, чем же еще развлечься. Друг предложил зайти к Фраскати, но эта мысль была мне не по вкусу. Как говорят французы, я уже изучил у Фраскати все входы и выходы, потерял и выиграл там множество пятифранковых монет ради чистой забавы, пока это не перестало меня забавлять, и мне, в сущности, окончательно надоело наблюдать отвратительную респектабельность этой общественной аномалии – респектабельного игорного дома.

– Право же, – сказал я другу, – пойдёмте туда, где можно посмотреть на настоящих игроков, отъявленных мерзавцев, раздавленных нищетой, безо всей этой фальшивой позолоты. Давайте пойдём куда-нибудь подальше от модного Фраскати – туда, куда без возражений пустят человека в поношенном пальто или вовсе без пальто, даже поношенного.

– Хорошо, – сказал мой друг. – Если вы желаете себе подобной компании, нам даже не обязательно покидать окрестности Пале-Рояль. Вот такое заведение, прямо перед нами, – по слухам, здесь собираются самые отъявленные мерзавцы: вы увидите все, что хотели.

Еще минута – и мы очутились у дверей и вошли в дом, заднюю стену которого вы изобразили на рисунке.

Мы поднялись по лестнице и оставили шляпы и трости у привратника, после чего нас допустили в главную игорную залу. Там было не очень многолюдно. Но пусть совсем мало голов поднялось, чтобы поглазеть на нас, когда мы вошли, сразу стало ясно: здесь собрались типичные представители всех слоев общества – причем до ужаса подлинные.

Мы пришли поглядеть на мерзавцев, но эти люди были хуже чем мерзавцы. У всякого мерзавца есть комическая сторона, более или менее заметная, а здесь не было ничего, кроме трагедии – немой, роковой трагедии. Царившая в зале тишина была кошмарна. Тощий, изможденный, длинноволосый молодой человек, чьи запавшие глаза пристально наблюдали за переворачиванием карт, хранил молчание; грязный морщинистый старик с глазами стервятника и в заштопанном сюртуке, потерявший последнее су, но до сих пор отчаянно следивший за игрой, хотя уже не мог в ней участвовать, хранил молчание. Даже голос крупье звучал в атмосфере залы отчего-то глухо и как-то придушенно. Я пришел туда посмеяться, но открывшееся мне зрелище было достойно слез. Вскоре я почувствовал приближение сокрушительного упадка духа и понял, что нужно спасаться и найти способ взвинтить себе нервы. К несчастью, способ нашелся самый простой – сесть за стол и вступить в игру. И еще более к несчастью, как покажет дальнейший ход событий, я стал выигрывать – и выигрывал чудовищные, невероятные суммы, и деньги текли ко мне настолько быстро, что завсегда и игорного дома столпились вокруг меня, суеверно глядели на мои ставки алчными глазами и шептали друг другу, что этот незнакомый англичанин сейчас сорвет банк.

Мы играли в «*Rouge et Noir*» – «Красное и Черное». Я играл в эту игру во всех европейских городах, однако не взял на себя труда изучить теорию случайностей – этот философский камень любого игрока! Впрочем, я никогда и не был игроком в строгом смысле слова. Я был слишком чистосердечен для отравляющей страсти к игре. Играл я лишь ради праздного развлечения. И никогда не прибегал к игре от нужды, поскольку никогда не знал, каково это – нуждаться в деньгах. Никогда не предавался игре без отдыха, пока не проиграю больше, чем могу себе позволить, или не выиграю больше, чем могу со спокойной душой положить в карман, не позволив удаче вывести меня из равновесия. Коротко говоря, до той поры я часто

бывал за игорными столами, как часто бывал и в бальных залах, и в оперных ложах, если искал развлечения и если не находилось ничего лучше, чтобы скоротать свободное время.

Но тут все было иначе: теперь я впервые в жизни ощутил, что такое настоящая страсть к игре. Успех сначала ошеломил, а потом в самом буквальном смысле слова опьянил меня. Может показаться невероятным, однако это правда: проигрывал я лишь тогда, когда пытался оценивать шансы и играл на основании предварительных расчетов. Если же я предоставлял все воле случая и играл не задумываясь и ничего не рассчитывая, я непременно выигрывал – выигрывал вопреки всем вероятностям, которые благоволили банку. Поначалу некоторые из игроков отваживались ставить свои деньги на мой цвет и не прогадывали, но я быстро повышал ставки до сумм, которыми они не осмеливались рисковать. Один за другим они выходили из игры и лишь наблюдали за мной, затаив дыхание.

А я раз за разом все повышал и повышал ставки – и выигрывал. Царившее в комнате возбуждение приобретало лихорадочный оттенок. Тишину нарушал лишь приглушенный хор проклятий и восклицаний на разных языках всякий раз, когда на мою половину стола подвигали очередную грудку золота, и даже невозмутимый крупье швырнул на пол свою лопатку в приступе ярости (чисто французской) и изумления от моих успехов. Однако одному человеку из присутствовавших удавалось сохранить самообладание, и этим человеком был мой друг. Он подошел ко мне и шепотом по-английски стал уговаривать меня уйти, удовлетворившись выигранным. Справедливости ради должен сказать, что он повторил свои предостережения и просьбы несколько раз и оставил меня и отошел, лишь когда я наотрез отказался следовать его совету (игра опьянила меня точь-в-точь как вино), причем в выражениях, лишивших его всякой возможности заговаривать со мной снова в тот вечер.

Вскоре после его ухода сиплый голос у меня за спиной воскликнул:

– Позвольте, мой дорогой мосье, позвольте вернуть на подобающее им место те два наполеона, которые вы обронили. Небывалая удача, мосье! Слово старого солдата: несмотря на давний опыт в подобных делах, я никогда не видывал подобной удачи, никогда! Продолжайте, мосье. *Sacre mille bombes!*³ Смелей вперед! Сорвите банк!

Я обернулся и увидел, что мне кивает и улыбается с заученной учтивостью высокий незнакомец в мундире, расшитом шнурами.

Если бы я был в здравом уме, то счел бы его весьма подозрительным образчиком старого солдата. У него были выпученные, налитые кровью глаза, грязные усы и сломанный нос. Манера говорить отдавала самой скверной казармой, а таких грязных рук я не видел ни у кого, даже во Франции. Однако эти маленькие личные особенности почему-то не вызвали у меня ни малейшего отвращения. В своем распаленном безумии, в победоносной беспечности той минуты я был готов побрататься со всяким, кто побудит меня продолжать игру. Я принял от старого солдата щепотку табака, похлопал его по спине и поклялся, что он честнейший малый на всем белом свете – и что мне не доводилось встречать более славного ветерана Великой армии⁴.

– Играйте! – вскричал мой друг-военный. – Играйте и побеждайте! Сорвите банк! *Mille tonnerres!*⁵ Сорвите банк, мой храбрый английский товарищ!

И да, я продолжал играть – и поднимал ставки так рьяно, что еще через четверть часа крупье объявил: «Господа, на сегодня банк закрыт». Все банкноты, все золото из этого «банка» лежали теперь грудой у меня под руками, весь безбрежный капитал игорного дома был готов перетечь в мои карманы!

³ Тысяча чертей! (фр.)

⁴ Великая армия – так назывались вооруженные силы Франции во времена правления Наполеона Бонапарта.

⁵ Тысяча громов! (фр.)

– Завяжите деньги в платок, мой достойный господин, – посоветовал старый солдат, когда я стал лихорадочно подгрести к себе свою грудку золота руками. – Завяжите в платок, как мы в Великой армии завязывали свои съестные припасы; ваш выигрыш очень уж тяжел, никакие брючные карманы не выдержат. Ну вот! Прекрасно, сгребайте сюда все, и банкноты тоже! *Credie!*⁶ Вот это удача! Погодите! Вот еще наполеон на полу! *Sacre petit polisson de Napoleon!*⁷ Неужели я тебя наконец нашел? Ну вот, сударь, – два тугих двойных узла крест-накрест, с дозволения вашей светлости, и денежки спрятаны. Пощупайте! Пощупайте, счастливец! Круглый, твердый, что твое ядро. *Ah, bah!*⁸ Если бы только в нас запускали такими ядрами при Аустерлице⁹ – *nom d'une pipe!*¹⁰ О, если бы! А теперь что же мне остается – мне, старому гренадеру, ветерану французской армии? Что, спрашиваю я вас? Проще простого: пригласить моего драгоценного английского друга вместе распить бутылку шампанского и на прощание поднять пенный кубок за богиню Фортуну!

Достойнейший ветеран! Веселый старый гренадер! Шампанское за любые деньги! Английский тост за старого солдата! Ура! Ура! Другой английский тост за богиню Фортуну! Ура! Ура! Ура!

– Bravo, англичанин – любезный, щедрый англичанин, в чьих жилах течет живая французская кровь! Еще бокал? *Ah, bah!* Бутылка пуста! Ничего! *Vive le vin!*¹¹ Я, старый солдат, заказываю еще одну бутылку и к ней полфунта конфет!

– Нет-нет, ветеран, так не пойдет, старый гренадер! Та бутылка была ваша, а эта – моя. Вот, глядите! Наливайте! За французскую армию! За великого Наполеона! За присутствующих! За крупье! За жену и дочерей нашего честного крупье, если они у него есть! За прекрасных дам! За всех на свете!

Когда опустела вторая бутылка шампанского, у меня возникло чувство, будто я напился жидкого пламени: мозг у меня пылал. Прежде вино, даже в избытке, не оказывало на меня подобного воздействия. Может быть, все дело в том, что я был крайне возбужден и вино лишь взбодрило меня в таком состоянии? Может быть, у меня было несварение желудка? Или шампанское оказалось на редкость крепким?

– Ветеран французской армии! – вскричал я в приступе безумного ликования. – Я весь в огне! А вы? Это вы заставили меня запылать! Слышите, о мой герой Аустерлица? Закажем же третью бутылку шампанского, зальем это пламя!

Старый солдат покачал головой, закатил круглые глаза – я испугался, что они вот-вот вывалятся из глазниц, – потер грязным указательным пальцем нос, с самым серьезным видом изрек: «Кофе!» – и ринулся в заднюю комнату.

Это слово, произнесенное чудаковатым ветераном, подействовало на присутствовавших, будто волшебство. Все они разом поднялись и собрались уходить. Вероятно, они ожидали случая воспользоваться моим опьянением, однако, обнаружив, что мой новый друг по доброте своей не намерен допустить, чтобы я совсем напился, оставили надежду пожить за счет моего выигрыша. Так или иначе, они все сразу ушли. Когда старый солдат вернулся и сел против меня за стол, мы были в зале одни. Я видел крупье – он сидел в передней, выходящей в общую залу, и в одиночестве ужинал. Настала небывалая тишина.

⁶ Здесь: Поверить не могу! (*фр.*)

⁷ Чертова маленькая шалость Наполеона! (*фр.*)

⁸ Ах, ба! (*фр.*)

⁹ В битве при Аустерлице в 1805 г. французские войска под командованием Наполеона разбили русско-австрийскую армию.

¹⁰ Здесь: Черт подери! (*фр.*)

¹¹ Да здравствует вино! (*фр.*)

С ветераном тоже произошла резкая перемена. Он стал неожиданно серьезен, а когда обратился ко мне, то уже не расцвечивал свою речь проклятиями, не подчеркивал ее щелканьем пальцев и не оживлял обращениями и восклицаниями.

– Послушайте, мой дорогой друг, – произнес он тоном таинственным и задушевым. – Послушайте совет старого солдата. Я ходил к хозяйке дома (очаровательная женщина, а уж готовит просто гениально!) и настоятельно попросил ее сварить для нас особенно хороший, крепкий кофе. Вам следует выпить этот кофе, иначе не удастся стряхнуть с себя это легкое очаровательное опьянение, прежде чем вы решите отправиться домой, – непременно следует, мой добрый, щедрый друг! Вам сегодня нужно донести до дома столько денег, что быть в здравом уме и твердой памяти – ваш священный долг. О вашем выигрыше со всей достоверностью известно нескольким господам, которые присутствовали здесь сегодня, и все они с определенной точки зрения люди достойные и превосходные, но тем не менее они простые смертные, мой дорогой друг, и у них есть свои милые слабости. Нужно ли объяснять? Ах нет, нет! Вы меня понимаете! А теперь вот как вам нужно поступить: когда снова почувствуете себя хорошо, пошлите за кабриолетом; когда сядете в него, опустите занавеси на всех окнах и велите кучеру везти вас домой только по широким, ярко освещенным улицам. Сделайте так, и тогда и вы, и ваши денежки будете в безопасности. Сделайте так, и завтра вы скажете спасибо старому солдату за этот совет, данный от чистого сердца.

Едва ветеран закончил свою речь на самой сентиментальной ноте, принесли кофе, уже разлитый по двум чашкам. Мой предупредительный друг с поклоном вручил мне одну из них. Я изнывал от жажды и залпом выпил ее. Почти сразу после этого у меня приключился приступ головокружения, и я почувствовал себя хмельнее прежнего. Комната бешено завертелась перед глазами, а старый солдат мерно покачивался передо мной, будто поршень паровой машины. Меня едва не оглушил яростный звон в ушах и захлестнуло ощущение растерянности и беспомощности, я ничего не соображал. Я поднялся со стула, схватившись за край стола, чтобы не упасть, и выговорил заплетающимся языком, что мне ужасно плохо – настолько плохо, что я не понимаю, как доберусь домой.

– Мой дорогой друг, – отвечал старый солдат, и даже голос его, казалось, качается вверх-вниз, – мой дорогой друг, было бы безумием ехать домой в вашем нынешнем состоянии, вы наверняка потеряете все деньги, вас в два счета ограбят и убьют. Я собираюсь ночевать здесь; вот и вы здесь заночуйте, в этом доме превосходные постели – займите одну из них, поспите, глядишь, хмель и выветрится, а завтра спокойно поезжайте домой с выигрышем – завтра, при свете дня.

У меня в голове осталось всего две мысли: во-первых, нельзя выпускать из рук платок, набитый деньгами, а во-вторых, нужно сейчас же где-нибудь лечь и забыться сладким сном. Поэтому я согласился на предложение переночевать и оперся на руку, которую протянул мне старый солдат, а в свободной руке нес свои деньги. Следом за крупье мы прошли через несколько коридоров и поднялись по лестнице наверх в спальню, которую мне предстояло занять. Ветеран с приязнью пожал мне руку, предложил утром вместе позавтракать, а затем оставил меня, пожелав спокойной ночи, а крупье вышел за ним.

Я ринулся к умывальнику, попил воды из кувшина, а остальное вылил в таз и окунулся туда лицом, потом сел в кресло и попытался взять себя в руки. Вскоре мне стало лучше. После спертой атмосферы игровой залы легкие наполнила прохлада моего теперешнего обиталища, а смена ослепительных газовых фонарей «салона» на тусклое мирное мерцание единственной свечи на прикроватном столике оказала почти столь же освежительное воздействие на зрение, чему чудесным образом поспособствовала целительная сила холодной воды. Головокружение покинуло меня, и я снова почувствовал себя разумным человеком. Первой моей мыслью было – как опасно оставаться ночевать в игорном доме; второй – насколько опаснее пытаться выбраться отсюда, когда двери уже заперты, и возвращаться домой одному по улицам ночного

Парижа с крупной суммой денег. В путешествиях мне доводилось спать и в местах похуже, поэтому я решил запереть дверь, задвинуть засов, забаррикадироваться и попытаться удачи до утра.

Соответственно я обезопасил себя от любого вторжения: заглянул под кровать и в шкаф, проверил, прочны ли щеколды на окнах, а затем, довольный, что предпринял все должные предосторожности, снял верхнюю одежду, поставил свечку – совсем тусклую – в камин, в кучку пушистой, словно перья, древесной золы, и улегся в постель, сунув набитый деньгами платок под подушку.

Вскоре я понял, что уснуть мне не удастся – и не удастся даже сомкнуть глаза. Я был совершенно бодр, кроме того, меня трясло, будто в лихорадке. Все нервы в моем теле трепетали, все чувства были сверхъестественно обострены. Я метался в постели, перепробовал все положения, упорно искал прохладные уголки постели – но напрасно. То я укладывал руки поверх одеяла, то совал под одеяло, то яростно вытягивал ноги до самой спинки кровати, то судорожно поджимал их под подбородок, будто боялся, как бы они не сбежали, то встряхивал измятую подушку, переворачивал прохладной стороной вверх, расправлял и тихо укладывался на спину, то сердито складывал ее пополам, ставил на попа, подтыкал к изголовью и пытался заснуть полусидя. Все мои усилия оказались тщетными, и я застонал от досады: меня ожидала бессонная ночь.

Что же делать? Книги у меня не было, читать было нечего. Но я понимал, что, если не сумею хоть чем-то занять голову, в нынешнем состоянии я буду воображать себе всяческие ужасы, вязнуть в собственных мыслях, выискивать там предвестья всех возможных и невозможных опасностей – короче говоря, проведу ночь, корчась от многообразных разновидностей нервической паники.

Я приподнялся на локте, оглядел комнату, которую ярко освещал прелестный лунный свет, лившийся прямо в окно, – в поисках картин или украшений, которые я мог бы подробно рассмотреть. Пока взгляд мой блуждал со стены на стену, мне вспомнилась восхитительная книжца де Местра «*Voyage autour de ma Chambre*»¹².

Я решил последовать примеру французского писателя и найти себе занятие и развлечение, способное развеять скуку бессонницы, составив мысленный перечень всех до единого предметов обстановки, какие только увижу, и проследить до конца все множество ассоциаций, которые при известной настойчивости могут вызвать даже стул, стол или умывальник.

Оказалось, в тогдашнем нервном и взбудораженном состоянии духа мне гораздо проще составлять перечень, нежели размышлять, а поэтому я вскоре оставил всякую надежду следовать в своих изысканиях примеру изобретательной книжки де Местра, как, впрочем, и вообще думать. Я просто разглядывал комнату и разные предметы обстановки – и больше ничего.

Во-первых, в комнате была кровать, где я лежал, причем кровать под балдахином – подумать только, встретить подобное в Париже! Да-да, совершенно нелепая британская кровать с самым обычным балдахином из чинца – с самой обычной оборкой по краю; самые обычные душные, пыльные шторы: я вспомнил, как, попав в комнату, машинально раздвинул их к столбам балдахина, даже не заметив, что это кровать. Затем, умывальная стойка с мраморной столешницей, откуда на кирпичный пол до сих пор капала вода, которую я расплескал, – так я спешил налить ее в таз. Далее, два маленьких стула, на которые я повесил сюртук, жилет и брюки. Далее, большое кресло с деревянными подлокотниками, обитое грязно-белым канифасом, с моим воротничком и шейным платком на спинке. Далее, комод, где не хватало двух латунных ручек, и безвкусный побитый фарфоровый письменный прибор, который поставили на него для красоты. Далее, туалетный столик, украшенный очень маленьким зеркалом и очень боль-

¹² «Путешествие вокруг моей комнаты» (фр.) – книга французского писателя Франсуа Ксавье де Местра.

шой подушечкой для булавок. Далее, окно – необычайно большое окно. Далее, потемневшая старая картина, которую тускло осветил мне неверный огонек свечи. Это был портрет молодого человека в высокой испанской шляпе, увенчанной величественным плюмажем из перьев. Суший разбойник – смуглый, недобрый, – он смотрел куда-то вверх из-под руки, напряженно смотрел все вверх и вверх – должно быть, на высокую виселицу, на которой его собирались повесить. Как бы то ни было, судя по виду, он всецело заслуживал подобной участи.

Эта картина словно бы вынудила и меня посмотреть наверх – на верхушку балдахина. Она оказалась унылой и неинтересной, и я снова поглядел на картину. Сосчитал перья на шляпе молодого человека – они рельефно выделялись: три белых, два зеленых. Рассмотрел тулью шляпы – коническую, вроде тех, какие, по расхожему мнению, любил Гай Фокс¹³. Мне стало интересно, на что же он смотрит. Едва ли на звезды – такой сорвиголова не мог быть ни астрологом, ни астрономом. Наверняка на высокую виселицу, где его вот-вот повесят. Заберет ли палач себе эту коническую шляпу и пышные перья? Я еще раз пересчитал перья: три белых, два зеленых.

Пока я предавался этому весьма познавательному интеллектуальному занятию, мысли мои сами собой потекли в другую сторону. Лившийся в комнату лунный свет напомнил мне некую лунную ночь в Англии – ночь после веселого пикника в одной валлийской долине. Мне вспомнились все подробности поездки домой, все прелестные пейзажи, которые в лунном свете становились еще прелестнее, хотя я много лет и не думал об этом пикнике, впрочем если бы я пытался вспомнить его нарочно, то наверняка не вызвал бы в воображении почти ничего из той сцены, давно канувшей в прошлое. Какая из всех чудесных способностей, которые подсказывают, что на самом деле мы бессмертны, глаголет высшую истину красноречивее, чем память? И вот я лежу в незнакомом доме самого подозрительного свойства, в непонятном и даже опасном положении, – казалось бы, все это должно сделать совершенно невозможным холодные упражнения в воспоминаниях; и тем не менее я вспоминаю – против воли – места, людей, разговоры, мельчайшие обстоятельства всякого рода, которые, по собственному убеждению, забыл навсегда и которые едва ли мог бы вспомнить осознанно, даже если бы все к этому располагало наилучшим образом. И какая же причина вмиг привела к столь странному, сложному, загадочному результату? Всего лишь несколько лучей лунного света, упавших в окно моей спальни.

Я все думал о пикнике, о веселой поездке домой, о сентиментальной юной леди, которая, конечно же, процитировала «Чайльд Гарольда»¹⁴ – ведь была луна. Я полностью погрузился в эти сценки и утехы прошлого, и вдруг нить, на которой были подвешены мои воспоминания, с треском порвалась, и мое внимание вернулось к событиям настоящего, причем даже острее прежнего, – и я обнаружил, что снова всматриваюсь в картину, не зная зачем и почему.

Что я высматривал?

Боже милосердный! Разбойник надвинул шляпу на глаза! Нет! Шляпа исчезла! Где ее коническая тулья? Где перья – три белых, два зеленых? Их нет! И что же за сумрачная пелена на месте шляпы и перьев скрывает теперь его лоб, глаза, руку, козырьком приложенную ко лбу? Неужели кровать сдвинулась?

Я повернулся на спину и посмотрел вверх. Я безумен? Пьян? Сплю и вижу сон? У меня снова кружится голова? Или верх балдахина и правда опускается – медленно, плавно, бесшумно, ужасно – всем своим весом, всей шириной и высотой опускается прямо на меня, лежащего внизу?

¹³ Гай Фокс (1570–1606) – английский дворянин, участник заговора против короля Якова I в 1605 г.

¹⁴ «Паломничество Чайльд Гарольда» – поэма английского поэта Джорджа Гордона Байрона.

У меня кровь застыла в жилах. Все мое тело охватил смертельный, парализующий холод, и я повернул голову на подушке и решил проверить, действительно ли движется балдахин, посмотрев на человека на картине.

Одного взгляда в ту сторону было достаточно. Тусклый, черный, пыльный край оборки надо мной уже опустился вровень с его поясом. Я все смотрел, не дыша. И увидел, как сама фигура и полоса рамы под фигурой плавно и медленно – очень медленно – исчезают за опускающейся оборкой.

От природы я отнюдь не робок. В жизни мне не раз и не два грозили опасности, и я ни на миг не терял самообладания; но когда меня наконец осенило, что балдахин и правда движется, плавно и неуклонно опускается на меня, я мог всего лишь беспомощно дрожать, оцепенев от ужаса, под этим жутким убийственным механизмом, который все приближался и приближался, готовый задушить меня.

Я смотрел вверх, не двигаясь, не дыша, не издавая ни звука. Свеча окончательно догорела и потухла, однако лунный свет заливал комнату по-прежнему. Вниз, вниз, не останавливаясь, без единого шороха опускался на меня балдахин, а ужас словно бы приковывал меня все прочнее и прочнее к тюфяку, где я лежал, – вниз, вниз опускался балдахин, и вот уже душный запах подкладки проник мне в ноздри.

В этот последний миг меня пробудил от транса инстинкт самосохранения, и я наконец зашевелился. И еле-еле успел боком соскользнуть с кровати. Когда я бесшумно сполз на пол, край балдахина-убийцы задел мне плечо.

Я не стал ни переводить дыхания, ни вытирать холодный пот с лица, а тут же встал на колени и снова посмотрел на балдахин. Он меня буквально заморозил. Если бы за спиной у меня послышались шаги, я бы не обернулся; если бы мне чудесным образом представилась возможность для побега, я бы и ради нее не пошевелился. В ту минуту все мои жизненные силы словно бы сосредоточились во взгляде.

А он все опускался – весь балдахин, со всеми своими оборками, все вниз, вниз, на постель, до того низко, что я уже не смог бы просунуть и пальца в щель между балдахином и матрасом. Я ощупал края балдахина – и оказалось, что его верх, который я принял за обычный легкий тканевый полог, на самом деле толстый широкий тюфяк, но этого не было видно из-за скрывавшей его оборки. Тогда я посмотрел вверх и обнаружил, что четыре столба стоят зловеще-голыми. Посреди балдахина оказался большой, пропущенный через дыру в потолке, деревянный винт, который, вероятно, и опускал его, словно обычный пресс на вещество, которое требуется спрессовать. Жуткая конструкция двигалась без малейшего шума. Винт ни разу даже не скрипнул, из комнаты наверху не доносилось ни шороха. В этой ужасной могильной тишине я видел перед собою – в девятнадцатом веке, в цивилизованной столице Франции! – машину для тайного убийства через удушение, какая могла бы существовать в худшие дни инквизиции, где-нибудь на постоялых дворах, затерянных в горах Гарц, или в тайных судилищах Вестфалии! Глядя на нее, я по-прежнему не мог пошевелиться, но способность мыслить понемногу возвращалась ко мне, и вскоре я понял, что за смертоносный заговор против меня составилась в этом ужасном месте.

В мою чашку кофе подмешали отравы, причем отравы слишком сильной. Я спасся от удушения благодаря чрезмерной дозе дурмана. А как я терзался и мучился из-за лихорадочного припадка, который спас мне жизнь, не дав заснуть! До чего же беспечно я откровенничал с двумя негодяями, которые привели меня в эту комнату, задумав, чтобы заполучить мой выигрыш, убить меня во сне при помощи надежнейшего, ужаснейшего устройства, которое уничтожило бы меня, сохранив их тайну! Сколько же других, выигравших, как я, спали, как намеревался спать и я, на этой кровати – и больше их никто не видел и не слышал?! Едва представив себе подобное, я содрогнулся.

Однако вскоре мысли мои снова прервались: смертоносный полог опять пошевелился. Пробыв на постели, насколько я мог судить, около десяти минут, он начал подниматься обратно. Злодеи, управлявшие им сверху, должно быть, решили, будто цель их достигнута. Ужасный балдахин так же тихо и медленно, как опускался, взмыл на прежнее место. Достигнув верхних концов четырех столбов, он уперся в потолок. Теперь не было видно ни дыры, ни винта; кровать на вид снова стала обычной кроватью, а балдахин – обычным балдахином даже на самый недоверчивый взгляд.

Теперь я наконец смог пошевелиться, встал с колен, надел верхнюю одежду и задумался, как же отсюда бежать. Если я выдам хотя бы малейшим шорохом, что попытка удушить меня потерпела неудачу, меня наверняка убьют. А вдруг я уже выдал себя? Я напряженно вслушался, глядя на дверь.

Нет! Ни топота в коридоре снаружи, ни шагов – ни легких, ни тяжелых – в комнате наверху, – везде абсолютная тишина. Я не просто запер дверь на замок и на засов, но и придвинул к ней старый деревянный сундук, который обнаружил под кроватью. Отодвинуть сундук (кровь застыла у меня в жилах при мысли, что в нем могло бы вскоре очутиться!), никого не насторожив, было невозможно, более того, сама мысль пробираться на улицу через дом, наверняка запертый на ночь, была чистым безумием. Только одно оставалось мне – вылезти в окно. Я на цыпочках прокрался к нему.

Моя спальня была на втором этаже, над антресолю, и выходила на ту самую улочку, которую вы изобразили на наброске. Я поднял руку, собравшись открыть окно, зная, что от этого действия зависит мое спасение, висевшее на волоске. Наверняка в этом Доме Смерти все начеку. Если скрипнет рама, если скрипнет петля, мне конец! Чтобы открыть это окно, мне понадобилось, по-моему, не меньше пяти минут – а затраченных усилий хватило бы и на пять часов. Я сумел проделать это бесшумно, причем действовал я с ловкостью опытного вора-домушника, – после чего я выглянул на улицу. Прыгать с такой высоты означало бы верную гибель! Тогда я огляделся по сторонам. Слева по стене проходила толстая водосточная труба, которую вы нарисовали, – и проходила она прямо рядом с окном. Едва заметив эту трубу, я понял, что спасен. И задышал свободно – впервые с тех пор, как увидел опускающийся на меня балдахин!

Способ побега, который я изобрел, мог бы показаться кому-то трудным и рискованным, но для меня перспектива съехать вниз по трубе на улицу не содержала ни грана опасности. Я занимаюсь гимнастикой и потому давно привык лазать где угодно отважно и ловко, не хуже, чем в школьные годы, и знал, что голова, руки и ноги верно послужат мне при любом подъеме или спуске, даже самом сложном. Я уже перебросил ногу через подоконник, но тут вспомнил о платке, набитом деньгами, под подушкой. Я отнюдь не обеднел бы, если бы оставил его здесь, но, охваченный жадной мести, твердо решил, что негодяи из игорного дома не получат ни своей жертвы, ни добычи. Поэтому я вернулся к кровати и привязал тяжелый сверток себе за спину шейным платком.

Когда я хорошенько затянул узлы и приладил сверток поудобнее, мне почудилось, будто из-за двери послышался чей-то вздох. У меня пробежал мороз по коже от ужаса, я вслушался. Нет! В коридоре по-прежнему мертвая тишина, я слышал только тихое дуновение ночного ветерка в открытое окно. В следующий миг я был уже на подоконнике – а еще через мгновение крепко обхватил водосточную трубу руками и коленями.

Я соскользнул на улицу легко и тихо, как и было задумано, и немедленно помчался со всех ног в местную префектуру полиции, которая, насколько мне было известно, располагалась поблизости. По воле случая там бодрствовал супрефект, а также несколько его лучших подчиненных, – думаю, они составляли некий план по обнаружению виновного в загадочном убийстве, о котором тогда говорил весь Париж. Когда я начал свой рассказ – задыхаясь от спешки и на очень скверном французском, – мне стало очевидно, что супрефект заподозрил,

будто перед ним пьяный англичанин, который кого-то ограбил; но, послушав продолжение, он вскоре изменил свое мнение и, не успев я даже приблизиться к финалу, убрал в ящик стола все бумаги, лежавшие перед ним, надел шляпу, вручил мне другую (поскольку я был с непокрытой головой), отдал приказ отряду солдат, попросил своих опытных подчиненных приготовить всевозможные инструменты для взламывания дверей и кирпичных полов, взял меня за руку самым дружелюбным и бесцеремонным образом и вывел на улицу. Осмелюсь предположить, что, когда супрефект был маленьким мальчиком и его в первый раз повели в театр, он и вполноу не был в таком восторге, как теперь, когда предвкушал раскрытие дела в игорном доме!

Мы двинулись по улицам, и супрефект подвергал меня перекрестному допросу и одновременно поздравлял, шагая во главе нашего грозного отряда *posse comitatus*¹⁵. Едва мы очутились возле игорного дома, и у парадного, и у черного входа мигом расставили часовых, на дверь обрушили град оглушительных ударов, в окне показался свет, мне было велено спрятаться за спинами полицейских – после чего послышались новые удары и крик: «Откройте, именем закона!» В ответ на этот устрашающий зов все замки и засовы подались под невидимой рукой, и супрефект тут же оказался в доме, нос к носу с каким-то слугой, полуодетым и мертвенно-бледным. Сразу же состоялся краткий диалог:

– Мы хотим увидеть англичанина, который остановился на ночлег в этом доме.

– Он давным-давно ушел.

– Ничего подобного. Ушел его друг, а он остался. Проведите нас к нему в спальню.

– Клянусь вам, *Monsieur le Sous-préfet*¹⁶, его здесь нет! Он...

– Клянусь вам, *Monsieur le Garçon*¹⁷, он здесь. Он здесь спал, ваша кровать показалась ему неудобной, он пришел к нам пожаловаться на это – и вот он, среди моих людей, и вот он я, готовый поискать двух-трех блошек в его кровати. Реноден! – (Это он обратился к одному из подчиненных и показал на слугу.) – В кандалы этого человека, руки за спину. А теперь, господа, идемте наверх!

Всех до единого в доме арестовали – и мужчин, и женщин, а первым – «старого солдата». Потом я нашел кровать, в которой спал, а потом мы отправились в комнату наверху.

Там нигде не нашлось ничего хоть сколько-нибудь примечательного. Супрефект осмотрел помещение, велел всем молчать, дважды топнул по полу, потребовал свечу, внимательно посмотрел на то место, где топнул, и приказал осторожно разобрать там пол. Это было исполнено вмиг. Принесли свет, и мы увидели глубокую полость с деревянными распорками между полом верхней комнаты и потолком комнаты внизу. Через эту полость вертикально было пропущено нечто вроде железного кожуха, густо смазанного, а в этом кожухе виднелся тот самый винт, соединенный с балдахином внизу. Далее были обнаружены, вытащены и разложены на полу остальные детали машины: еще один винт, весь в свежем машинном масле, рычаги, обернутые войлоком, полный механизм верхней части тяжелого пресса, – все это было с дьявольской изобретательностью идеально подогнано к устройству внизу, а в разобранном виде умещалось в наименьший возможный объем. Немного повозившись, супрефект сумел собрать машину и, предоставив своим людям опробовать ее, вместе со мной спустился в спальню. Смертоносный балдахин уже опускался, но не столь беззвучно, как наблюдал я раньше. Когда я сказал об этом супрефекту, ответ его был прост, но полон устрашающего смысла.

– Мои люди, – заметил супрефект, – опускают полог в первый раз, а те, чьи деньги вы выиграли, имели больше опыта.

¹⁵ Здесь: сила сообщества (*лат.*). Так называли народные дружины, собиравшиеся в чрезвычайных случаях, например для поимки беглого преступника.

¹⁶ Мосье супрефект (*фр.*).

¹⁷ Мосье слуга (*фр.*).

Мы оставили дом в безраздельном владении двух полицейских: все до единого обитатели были тут же отправлены в тюрьму. Супрефект составил *proces verbal*¹⁸ моих показаний у себя в кабинете, а затем отправился со мной в гостиницу проверить мой паспорт.

– Скажите, – спросил я, вручая ему документ, – неужели кого-то действительно уже задушили в этой кровати, как пытались задушить меня?

– Я видел в морге десятки утопленников, в чьих бумажниках находили предсмертные послания, что они-де бросились в Сену, поскольку потеряли все за игорным столом, – отвечал супрефект. – Откуда мне знать, многие ли из них пришли в тот же игорный дом, что и вы? Выиграли, как выиграли вы? Легли на эту кровать, как легли вы? Уснули в ней? Были в ней задушены? И затем были тайно выброшены в реку с предсмертной запиской, которую убийцы подделали и подложили к ним в бумажник? Никто на свете не скажет, сколько их было, тех, кого ждала участь, которой вы избежали, – много или мало. Эти люди из игорного дома сумели утаить свой механический балдахин даже от нас, даже от лучшей в мире французской полиции! А мертвые лишь помогли им хранить эту тайну. Доброй ночи, точнее, доброе утро, мосье Фолкнер! Явитесь ко мне в девять, а пока что *au revoir*!¹⁹

Дальнейший мой рассказ не займет много времени. Меня допрашивали снова и снова, игорный дом тщательно обыскали сверху донизу, арестованных подвергли дознанию поодиночке, и двое из тех, на ком не было особенно тяжкой вины, во всем признались. Я выяснил, что «старый солдат» был на самом деле хозяином игорного дома, а правосудие выяснило, что его много лет назад разжаловали из армии за дезертирство, что после этого он совершил множество всевозможных злодеяний, что у него хранилось краденое имущество, у которого нашлись владельцы, и что они с крупье – его сообщником – и с женщиной, сварившей мне кофе, придумали хитроумный план с механическим балдахином. Были некоторые причины сомневаться, знали ли об этой удушающей машине слуги, работавшие в доме, и слуги воспользовались этими сомнениями и были наказаны просто как бродяги и воры. Что же касается «старого солдата» и двух его главных клеветов, они угодили на виселицу; женщина, отравившая мой кофе, попала в тюрьму не помню на сколько лет; завсегдатаи игорного дома были признаны «подозрительными» и помещены «под наблюдение»; а я на целую неделю (а это долго) стал главным светским львом Парижа. Мои приключения воспели три знаменитых драматурга, однако пьесы так и не увидели света рампы, поскольку цензура запретила показывать на сцене точное подобие механического балдахина из игорного дома.

Зато мои приключения принесли мне пользу, которую одобрила бы любая цензура: они раз и навсегда излечили меня от тяги сыграть в «*Rouge et Noir*». Отныне зрелище зеленого сукна с колодами карт и грудями денег было для меня навеки связано со зрелищем балдахина, который в ночной тьме и тишине опускался на меня, готовясь задушить.

Договорив, мистер Фолкнер тут же вскинулся в кресле и немедленно принял прежнюю неловкую горделивую позу.

– Боже милостивый! – воскликнул он с комической гримасой изумления и огорчения. – За всеми этими рассказами, почему я так заинтересовался наброском, который вы по доброте своей подарили мне, я совершенно забыл, что пришел сюда позировать для портрета. Должно быть, весь последний час я позировал просто ужасно, наверное, у вас никогда не было моделей хуже меня!

– Напротив, вы были лучше всех, – ответил я. – Я старался уловить сходство, а вы, увлекшись рассказом, невольно показали мне естественное выражение своего лица, а это и требовалось мне для верного успеха.

¹⁸ Протокол (*фр.*).

¹⁹ До свидания! (*фр.*)

Приписка миссис Керби

Не могу оставить эту историю без примечания о случайной фразе, ставшей причиной, по которой она была рассказана в усадьбе вчера вечером. Наш друг, молодой моряк, перечисляя, чем ему не нравится сон на берегу, провозгласил, что особенно он не любит кровати с балдахином, поскольку всякий раз, когда ему случается спать в такой постели, он боится, что балдахин среди ночи свалится на него и задушит. Мне показалось донельзя странным, что он случайно упомянул основную черту истории Уильяма, и мой муж согласился со мной. Однако он говорит, что едва ли стоит писать о подобных пустяках в такой важной книге. После этого я смею лишь украдкой присовокупить эти строчки в самом конце рассказа. Если печатник обратит внимание на мои последние слова, возможно, он не сочтет за труд поместить их где-нибудь в уголке, где они не слишком помешают.

Л. К.

Пролог ко второму рассказу

Первым из целой череды великолепных заказов, которые мне удалось получить на респектабельном курорте Тидбери-на-Болотах и в его окрестностях, был портрет в полный рост блистательной местной знаменитости – некоего мистера Бокшеса, стряпчего, которому, по всеобщему убеждению, удалось превзойти в делах всех остальных здешних законников.

Портрет должен был стать «зримым свидетельством (выражаясь языком циркуляра, который был мне тогда вручен) выдающихся заслуг мистера Бокшеса в становлении и укреплении процветания нашего города». Циркуляр подписали «муниципальные власти и постоянные жители» Тидбери-на-Болотах, и по завершении портрета его надлежало вручить миссис Бокшес «в качестве скромного подарка от чистого сердца» – и так далее. Своевременная рекомендация одного из моих самых великодушных друзей и покровителей сделала меня счастливым обладателем заказа, и я получил указание явиться в назначенный день в частную резиденцию мистера Бокшеса, имея при себе все необходимые принадлежности для первого сеанса.

Когда я прибыл в дом, меня провели в прелестно обставленную утреннюю гостиную. Полукруглый эркер выходил на большую открытую лужайку – она же служила и главной площадью Тидбери. По ту сторону лужайки я увидел новую гостиницу (с недавно пристроенным крылом), а рядом – старую гостиницу, упрямо сохранявшую обличье, в котором она была первоначально выстроена. Дальше по улице – дом доктора с цветным фонарем и маленькой табличкой, контора банкира с простым фонарем и большой табличкой, а затем, под прямым углом к ним, торговая улочка: сыродельня (очень маленькая), аптека (очень нарядная), кондитерская (очень безвкусная) и зеленная (очень темная). Я все разглядывал открывшийся мне вид, когда меня вдруг окликнул бесцеремонный голос, явно принадлежавший любителю поспорить:

– Ну что же, мистер художник! И это вы называете готовностью к работе? Где ваши кисти и краски и все такое прочее? Меня зовут Бокшес, и я пришел позировать для портрета.

Я обернулся – и столкнулся нос к носу с низеньким человечком, который стоял, расставив ноги и сунув руки в карманы. Глаза у него были светло-серые, с покрасневшими веками, волосы жесткие, с проседью, лицо – неестественно розовое, а взгляд нетерпеливый, дерзкий и хитрый. При первом же взгляде на него я сделал два открытия: во-первых, писать с такого портрет существе наказание; во-вторых, что бы он ни говорил и ни делал, держаться при нем с достоинством для меня затея бесполезная.

– Я буду готов через минуту, сэра, – сказал я.

– Через минуту? – переспросил он. – Что значит через минуту, мистер художник? Я уже готов. Каковы ваши обязательства по договору с городским советом, который собрал подписку на эту картину? Писать портрет. А каковы мои обязательства? Позировать для него. И вот я готов позировать, а вы не готовы писать меня. По законам логики и права вы уже нарушили условия договора. Стойте! Дайте посмотреть на ваши краски. Они лучшего качества? Если нет, предупреждаю вас, это будет вторым нарушением договора! А кисти? Клянусь всем святым, это же старые кисти! Городской совет щедро платит вам, мистер художник, почему вы не взяли для его задания новые кисти? Что? Старыми писать лучше? Возражаю, сэра! Это невозможно. Разве моей горничной лучше подметать полы старой метлой? Разве моим писарям лучше писать старыми перьями? Нечего тут жульничать, нечего смотреть на меня так, будто вы готовы со мной поссориться! Вы не можете со мной поссориться. Да будь вы в пятьдесят раз раздражительнее, чем кажетесь, вы все равно не смогли бы со мной поссориться. Я не молод, и я не обидчив. Я – Бокшес, стряпчий, единственный человек на свете, которого невозможно оскорбить, сколько ни старайтесь!

При этих словах он рассмеялся и отошел к окну. Воспринимать его болтовню всерьез было бессмысленно, поэтому я закончил готовить палитру для утреннего сеанса, всеми силами постаравшись держаться как можно безмятежнее.

– Вот еще! – продолжал Бокшес, глядя в окно. – Видите вон того толстяка, который слоняется по Променаду, вон того, с носом в табаке? Это мой возлюбленный враг, Данболл. Десять лет назад он попытался со мной поссориться, но ничего не добился, кроме того, что заставил меня проявить скрытую добросердечность моей натуры. Посмотрите на него! Посмотрите, как он хмурится, когда сворачивает в эту сторону. А теперь посмотрите на меня! Я способен улыбнуться и кивнуть ему. Я никогда не упускаю случая улыбнуться и кивнуть ему, это поддерживает во мне силы для борьбы с другими врагами. Доброе утро! (Нанесу ему двойной удар.) Доброе утро, мистер Данболл. Видите, он затаил злобу, не желает разговаривать; он апатического сложения, вспыльчив и в четыре раза жирнее, чем следовало бы; когда не сможет больше бороться, скоростижно умрет, а я буду тому невинной причиной.

Свое мрачное пророчество мистер Бокшес произнес с поразительным самодовольством и все это время кивал и улыбался из окна несчастному, который некогда в запальчивости попытался задеть его. Когда его возлюбленный враг скрылся из виду, он отвернулся и с удовольствием прошелся раза два по комнате, чтобы размяться. Тем временем я поставил холст на мольберт и уже собирался просить мистера Бокшеса сесть, когда он снова напустился на меня:

– Ну, мистер художник! – От нетерпения он зашагал быстрее. – В интересах городского совета, ваших нанимателей, позвольте мне в последний раз спросить: когда вы намерены начать?

– И позвольте мне, мистер Бокшес, также в интересах городского совета спросить вас: неужели вы считаете, будто позировать для портрета следует, расхаживая по комнате? – ответил я.

– Ага! Остроумно, чертовски остроумно! – парировал мистер Бокшес. – Это первая ваша разумная фраза с тех пор, как вы вошли в мой дом; вы уже начинаете мне нравиться.

С этими словами он одобрительно кивнул мне и вскочил в высокое кресло, которое я для него поставил, с проворством юноши.

– Ну, мистер художник, – продолжал он, когда я придал ему нужное положение (он потребовал портрет анфас, поскольку тогда городской совет получил бы больше за свои деньги), – должно быть, нечасто вам попадается столь выгодная работа, верно?

– Не слишком часто, – согласился я. – Я не был бы бедняком, если бы на меня постоянно сваливались заказы на портреты в полный рост.

– Вы – и бедняк?! – презрительно воскликнул мистер Бокшес. – Я выдвигаю возражения против этого утверждения с самого начала. Между прочим, на вас хороший суконный сюртук, свежая рубашка, вы гладко выбриты. У вас щеголеватый вид человека, спавшего в чистой постели и отменно позавтракавшего. Нечего тут нести мне чепуху о бедности, ведь я знаю, что это такое. Бедность – это значит выглядеть пугалом, чувствовать себя пугалом и терпеть обращение как с пугалом. Вот каким я был, позвольте сообщить, когда задумался, не пойти ли в юриспруденцию. Бедность, тоже мне! Берет ли вас оторопь, мистер художник, когда вы вспоминаете самого себя в двадцать лет? Меня – берет, даю вам честное слово.

Он до того раздраженно заерзал в кресле, что я в интересах своей работы был вынужден попытаться успокоить его:

– Должно быть, при вашем нынешнем благоденствии приятно бывает иногда вспомнить прошлое и все те ступени, которые вы преодолели на пути от бедности к достатку, а оттуда – к нынешнему своему богатству.

– Ступени, говорите?! – вскричал мистер Бокшес. – Не было никаких ступеней! Я был ловок, чертовски ловок, и первое же мое дело враз, в один день, принесло мне пятьсот фунтов.

– Огромный шаг на пути к успеху, – подхватил я. – Должно быть, вы сделали выгодное вложение...

– Ничего подобного! У меня и шестипенсовика свободного не было – что тут вложишь? Я получил деньги благодаря мозгам, рукам и напористости, более того, я горжусь своим поступком. Любопытная была оказия, мистер художник. Иные, пожалуй, постеснялись бы рассказывать подобное, но я никогда ничего не стеснялся и рассказываю об этом направо и налево – с начала и до конца, правда без имен. Даже и не думайте подловить меня на том, что я упоминаю имена! Кто-кто, а Томас Бокшес умеет держать язык за зубами!

– Раз вы всем рассказываете об этой «оказии», – заметил я, – вероятно, вы не обидитесь, если я скажу, что и мне хотелось бы выслушать ваш рассказ?

– Что за люди! Я же говорил вам – меня невозможно обидеть! И я говорил вам минуту назад: я этим горжусь! Я все расскажу вам, мистер художник... но постойте! В этом деле я отстаиваю интересы городского совета. Сможете ли вы рисовать, пока я говорю, не хуже, чем пока я молчу? Не усмехайтесь, сэр, вам здесь не положено усмехаться, вам положено отвечать – да или нет!

– Да, раз так, – сказал я не без свойственной мне резкости. – Я всегда рисую лучше, если слушаю интересную историю.

– Историю?! Я не собираюсь рассказывать вам никаких историй, я намерен сделать заявление. Заявление – это описание истинного положения дел, то есть прямая противоположность истории, каковая есть описание вымышленных событий. А я намерен изложить вам, что случилось со мной на самом деле.

И Бокшес, прежде чем приступить к рассказу, спокойно устроился в кресле, чем несказанно обрадовал меня. Его удивительная манера держаться и разговаривать произвела на меня тогда столь сильное впечатление, что я, пожалуй, сумею повторить его «заявление» и сейчас – почти теми же словами, какими он изложил его мне.

Рассказ законника о похищенном письме

Я уже некоторое время пробыл на службе, не важно, в чьей конторе, и решил открыть собственное дело в одном английском провинциальном городке, не стану упоминать, в каком именно. У меня не скопилось ни фартинга капитала, а мои друзья в тех краях были бедны и не могли принести мне ни малейшей пользы, за одним исключением. Этим исключением служил мистер Фрэнк Гатлифф, сын мистера Гатлиффа, местного судьи, – такого богача и гордеца было не сыскать на много миль окрест. Пойдите, мистер художник, нечего тут кивать с понижающим видом. Вы не найдете ни одной живой души по фамилии Гатлифф. Я не желаю никого компрометировать, упоминая имена, – ни себя, ни других. Я назвал его первой попавшейся фамилией.

Так вот, мистер Фрэнк был мне верный друг и охотно рекомендовал меня при всяком удобном случае. Мне удалось оказать ему небольшую своевременную услугу, не безвозмездно разумеется: я помог ему получить ссуду под выгодный процент, чем, в сущности, спас его от евреев-ростовщиков. Это произошло, когда мистер Фрэнк еще учился в колледже. Когда он вернулся из колледжа и на некоторое время поселился дома, по всей окрестности распространились сведения, что он влюблен; говорили, что его избранница – гувернантка его младшей сестры и он намерен на ней жениться. Да неужели?! Опять вы за свое, мистер художник! Хотите узнать, как ее звали, верно? Смит – довольны?

Будучи законником, я считаю любые слухи глупостями и ложью. Но в этом случае слухи имели совершенно иную природу. Мистер Фрэнк сообщил мне, что влюблен не на шутку, и поклялся честью (нелепое выражение, к которому постоянно прибегают молодые люди его возраста), что твердо решил жениться на гувернантке Смит – очаровательной, прелестной девушке, по *его* словам, но я не сентиментален, поэтому я буду называть ее гувернанткой Смит. Так вот, отец мистера Фрэнка, гордый, словно Люцифер, сказал по поводу женитьбы на гувернантке «нет», в то время как мистер Фрэнк желал бы услышать от него «да». Он был человек дела, старый Гатлифф, и избрал сугубо деловой подход. Он отослал гувернантку прочь с отменными рекомендациями и щедрым подарком, а затем начал подыскивать мистеру Фрэнку полезное занятие. Пока он подыскивал, мистер Фрэнк помчался в Лондон вслед за гувернанткой, у которой на всем белом свете не было никого, кроме тетки – сестры ее отца. Тетка отказывается принимать мистера Фрэнка без разрешения старого сквайра. Мистер Фрэнк пишет отцу и сообщает, что женится на девушке, едва только достигнет совершеннолетия, или пустит себе пулю в лоб. Сквайр с женой и дочерью прибывают в столицу, между ними происходят всевозможные сентиментальные сцены, не имеющие ни малейшего отношения к настоящему заявлению, в результате чего старый Гатлифф вынужден взять назад слово «нет» и заменить его словом «да».

Он никогда не пошел бы на это, думается мне, если бы у этой okazji не было одной удачной особенности. Отец гувернантки был из хорошей семьи, почти ровня самому Гатлиффу. Он был военный, продал свой офицерский патент²⁰, решил торговать вином – разорился – умер; жена *idem*²¹ – и на этом список смертей кончается. В сущности, не осталось никаких родственников, у которых сквайр мог бы навести справки, кроме сестры отца, которая, по словам старого Гатлиффа, проявила себя дамой исключительно благородного воспитания, когда захлопнула дверь перед носом мистера Фрэнка при первом знакомстве. Итак, коротко говоря, все наконец устроилось ко всеобщему удовольствию. Назначили день свадьбы, поместили объяв-

²⁰ Продажа и покупка патентов на офицерское звание (не выше подполковника) были приняты в ряде стран Европы, в том числе и в Англии, в XVII–XIX вв.

²¹ Так же (*лат.*).

ления в газете графства – «брак в высшем обществе» и все такое прочее. Привели и подобающую случаю биографию отца гувернантки, дабы пресечь досужую болтовню, – весьма красочно описали его древний род, подробно перечислили все заслуги в армии, но ни слова, прошу отметить, о последовавшем превращении в торговца вином. Ах нет, об этом ни слова!

Но я-то это знал, поскольку мистер Фрэнк сам сказал мне. Вот в нем-то не было ни капли ложной гордости. Он представил меня своей будущей жене, когда я случайно повстречал его на прогулке, и спросил, не считаю ли я его счастливецом. Охотно признаю: да, считал – и так и сказал ему. Ах! Но очень уж она была в моем вкусе, эта гувернантка. Ростом, насколько я припоминаю, пять футов четыре дюйма. Славная гибкая фигурка – сразу видно, что ее никогда не стесняли корсетом. Глаза, от которых у меня сразу возникло ощущение, будто я под строгим перекрестным допросом, стоило ей взглянуть на меня. Губки ярко-красные – такие раз поцелуешь, и еще захочется. Щечки, румянец – нет, мистер художник, вы не узнали бы ее сейчас по щечкам и румянцу, даже если бы я сию же минуту нарисовал их вам. Со времени моего рассказа она нарожала кучу детей, и щечки у нее заметно округлились, а румянец на два-три тона краснее, чем в тот день, когда я повстречал ее на прогулке с мистером Фрэнком.

Свадьба должна была состояться в среду. Год и месяц я бы предпочел не упоминать. Я к тому времени открыл собственную юридическую практику (скажем, месяца за полтора до описываемых событий или около того) и утром в понедельник сидел у себя в конторе один-одинешенек, пытаюсь представить себе будущее и не слишком в этом преуспевая, когда вдруг ко мне врывается мистер Фрэнк, бледный как привидение, прямо хоть картину с него пиши, и говорит, что ему нужен совет по ужаснейшему делу и он готов последовать этому совету, не теряя ни часа.

– У вас деловой вопрос, мистер Фрэнк? – обрываю я его, поскольку ясно, что он вот-вот впадет в сентиментальность. – Да или нет, мистер Фрэнк? – И с целью поскорее привести его в чувство стучу по столу новеньким ножом для бумаг.

– Мой милый Бокшес! – Он всегда обращался со мной запанибрата. – Ни в коем случае не деловой, это вопрос дружбы...

Я был вынужден снова привести его в чувство и учинить ему допрос, словно свидетелю в суде, не то он полдня потратил бы на пустые разговоры.

– Ну, мистер Фрэнк, – говорю, – я не терплю, чтобы сентиментальность мешала делу. Прошу вас, перестаньте болтать и дайте мне задать вопросы. Отвечайте как можно короче. Если достаточно просто кивнуть – кивайте вместо слов.

Три секунды я смотрел на него, не мигая, и он наконец сел в кресло, продолжая стонать и ерзать. Я снова постучал по столу ножом для бумаг, чтобы слегка испугать его. А затем продолжил:

– Из вашего заявления я делаю вывод, что у вас возникли затруднения, которые способны воспрепятствовать вашему бракосочетанию в среду?

(Он кивнул, и я снова вмешался, не дав ему произнести ни слова.)

– Эти затруднения касаются вашей молодой особы и восходят к периоду некоей сделки, в которой участвовал ее покойный отец, верно?

(Он кивает, и я опять вмешиваюсь.)

– Имеется третья сторона, заявившая о себе, увидев объявление о вашем бракосочетании в газете. Эта сторона знает нечто, чего ей знать не положено, и готова применить эти свои знания, дабы скомпрометировать молодую особу или ваш брак, если не получит определенную сумму денег за молчание? Превосходно. А теперь, мистер Фрэнк, первым делом подтвердите, что молодая особа самолично сообщила вам об этой сделке с участием ее покойного отца. Откуда вам стало об этом известно?

– Как-то раз она рассказывала мне об отце – до того мило и нежно, что пробудила во мне интерес к нему, – начинает мистер Фрэнк. – И я, помимо всего прочего, спросил ее, от чего

он умер. Главным образом – от помрачения ума, ответила она и добавила, что это помрачение было связано с отвратительной тайной, которую они с матерью скрывали ото всех, но от меня она не станет ее скрывать, поскольку твердо решила вступить в замужнюю жизнь, не имея секретов от мужа.

Тут мистер Фрэнк снова едва не впал в сентиментальность, и я опять привел его в чувство посредством ножа для бумаг.

– Она сказала мне, – продолжал мистер Фрэнк, – что продажа офицерского патента и обращение к торговле вином были величайшей ошибкой в жизни ее отца. У него не было деловой хватки, и с самого начала его преследовали неудачи. Возникли сильные подозрения, что его секретарь обманывал его...

– Минутку, – говорю. – Как звали подозреваемого секретаря?

– Даваджер, – говорит он.

– Даваджер, – говорю я и делаю пометку. – Продолжайте, мистер Фрэнк.

– Его дела все сильнее запутывались, – говорит мистер Фрэнк, – у него возникла нужда в деньгах по всем направлениям, и вот уже его ожидало банкротство и неизбежный в подобных случаях позор (по крайней мере, по его мнению). Эти беды привели его ум в крайне расстроенное состояние, и жена и дочь ближе к концу все сильнее сомневались, отвечает ли он за свои действия. И в этом горе и отчаянии...

Тут мистер Фрэнк начал запинаться.

У нас, законников, есть два способа добыть показания во всей их полноте, если заказчик или свидетель не желает ими делиться. Либо напугать, либо пошутить. С мистером Фрэнком я предпочел пошутить.

– Ах! – говорю. – Я знаю, что он сделал. Ему нужно было подписать какой-то документ, а он ошибся – с кем не случается! – и вместо своего имени написал имя другого джентльмена... Так?

– Это был вексель, – говорит мистер Фрэнк, который не стал смеяться моей шутке, а, напротив, совсем упал духом. – Его главный кредитор не желал ждать, пока он соберет нужную сумму или по крайней мере значительную часть ее. Но ее отец решил, что сможет выплатить долг, распродав все имущество...

– Естественно, – говорю. – Можете не рассказывать. Мошенничество было раскрыто. Когда?

– Еще до первой попытки реализовать вексель. Все это отец моей невесты по наивности проделал самым нелепым и неверным образом. Человек, чью подпись он подделал, был его лучший друг и родственник его жены – человек не только богатый, но и добрый. Он мог повлиять на главного кредитора, и так и поступил, что было весьма благородно. Он очень тепло относился к жене несчастного и доказал это своей щедростью.

– К делу, – говорю. – Что именно он сделал? Что именно он сделал с юридической точки зрения?

– Сжег фальшивый вексель, написал взамен собственный, а затем – и только затем – рассказал обо всем моей дорогой девочке и ее матери. Разве можно поступить благороднее? – спрашивает мистер Фрэнк.

– С моей профессиональной точки зрения нельзя поступить тупее, – говорю я. – Где тогда был отец? Надо полагать, его не было дома?

– Он был болен и лежал в постели, – сказал мистер Фрэнк, краснея. – Но он собрался с силами и в тот же день написал покаянное благодарственное письмо, где обещал показать себя достойным столь благородного обращения и великодушия, а для этого продать все свое имущество, чтобы уплатить долг. Он и правда распродав все, вплоть до старинных фамильных портретов, передававшихся по наследству, вплоть до скудного столового серебра, вплоть до столов и стульев, стоявших в гостиной. Долг был выплачен до последнего фартинга, а отцу

моей невесты нужно было начинать все с чистого листа, заручившись самыми добрыми обещаниями помочь от того благодетеля, который его простил. Но было поздно. Преступление, совершенное в отчаянный миг, даже заглаженное, не давало ему покоя. Он стал одержим мыслью, будто навеки уронил себя в глазах жены и дочери, и...

– Умер, – оборвал его я. – Да-да, это нам известно. Теперь давайте вернемся к покаянному благодарственному письму, которое он написал. Мой опыт в юриспруденции, мистер Фрэнк, убедил меня, что, если бы все жгли полученные письма, половина судей в нашей стране остались бы без работы. Не знаете ли вы, случайно, содержалось ли в письме, о котором мы сейчас говорим, хоть что-то похожее на признание в мошенничестве?

– Разумеется, – говорит он. – А как иначе ему было выразить раскаяние, не сделав подобного признания?

– Проще простого, если бы он был законником, – говорю я. – Впрочем, не важно; сейчас я выскажу догадку – прошу отметить, весьма смелую. Ошибусь ли я, если предположу, что письмо было похищено и что пальцы, взявшие его, принадлежали мистеру Даваджеру – человеку, обладающему сомнительной репутацией в коммерческих кругах.

– Именно это я и хотел вам объяснить! – вскричал мистер Фрэнк.

– Как же он сообщил вам о любопытном факте кражи?

– Он не показывался мне на глаза. У этого негодяя достало наглости...

– Ага! – говорю я. – Через самую юную особу! Ловкач, однако, этот мистер Даваджер.

– Сегодня утром, когда она гуляла одна по аллее, – продолжает мистер Фрэнк, – он имел дерзость подойти к ней и сказать, что вот уже несколько дней ищет случая поговорить с ней наедине. Затем он показал ей – показал! – письмо ее несчастного родителя, вложил ей в руки другое письмо, адресованное ей, поклонился и ушел, оставив ее полумертвой от ужаса и изумления. Если бы только я был рядом! – И мистер Фрэнк грозно потряс кулаком в качестве заключительного жеста.

– То, что вас не было рядом, величайшая удача, – говорю я. – А другое письмо – оно при вас?

Он вручил мне его. Оно было настолько кратким и комичным, что я и через столько лет помню его до последнего слова. Вот как оно начиналось:

«Фрэнсису Гатлиффу-младшему, эсквайру.

Сэр! У меня есть на продажу крайне любопытное письмо одного человека. Цена – пяти-сотфунтовая банкнота. Юная леди, на которой вы намерены жениться в среду, сообщит вам все об этом письме и подтвердит его подлинность. Если вы откажетесь от сделки, я pošлю копию письма в местную газету и буду ждать вашего досточтимого отца с оригиналом днем в ближайший вторник. Я приехал сюда по семейным делам и остановился в семейной гостинице, известной под названием „Герб Гатлиффов“. Ваш покорнейший слуга

Альфред Даваджер».

– Неглупый малый, – говорю я и убираю письмо в ящик под замок.

– Неглупый?! – восклицает мистер Фрэнк. – Да его за такое впору отхлестать кнутом! Я бы и отхлестал, но она еще до того, как рассказала, в чем дело, взяла с меня обещание, что я отправлюсь напрямиком к вам.

– Это одно из самых разумных обещаний в вашей жизни, – говорю я. – Мы не можем себе позволить напасть на этого малого, а как нам с ним поступить, еще подумаем. Пожалуй, с моей стороны не будет клеветой на нрав вашего превосходного отца, если я заявлю, что он, едва увидев письмо, немедленно потребует отложить свадьбу, – и это лишь по меньшей мере?

– С его отношением к моей женитьбе он потребует ее и вовсе отменить, если увидит письмо, – говорит мистер Фрэнк со стоном. – Но это еще не самое скверное. Моя великодуш-

ная, благородная девочка и сама говорит, что, если письмо попадет в газеты со всеми замечаниями, которые наверняка присовокупит этот негодяй и на которые нам нечего будет ответить, она скорее умрет, чем свяжет меня помолвкой, даже если отец позволит мне сохранить ее.

При этих словах на глаза его навернулись слезы. Он был совсем молод и слаб духом и к тому же до нелепости влюблен. Я снова постучал ножом для бумаг и заставил его вернуться к делу.

– Держитесь, мистер Фрэнк, – говорю. – У меня еще два-три вопроса. Вам не пришло в голову спросить молодую особу, не существует ли, насколько ей известно, и других письменных свидетельств мошенничества, помимо этого письма, будь оно неладно?

– Да, я сразу же подумал об этом и спросил ее, – отвечает он, – и она сказала, что совершенно убеждена: больше никаких письменных улик относительно мошенничества не осталось, только это письмо.

– Вы намерены заплатить мистеру Даваджеру за него указанную сумму? – спрашиваю я.

– Да, – говорит мистер Фрэнк, словно бы даже обидевшись на меня за подобный вопрос. В денежных делах он был легкомысленным юнцом и говорил о сотнях, как большинство говорит о шестипенсовиках.

– Мистер Фрэнк, – говорю я, – вы пришли сюда за моей помощью и советом в этом весьма щекотливом деле и, как я заранее уверен, готовы вознаградить меня за все мои услуги в соответствии с ценами, принятыми в нашей профессии. Теперь я собираюсь с силами, чтобы приступить к действиям решительно и даже отчаянно, если угодно, исходя из принципа «все или ничего» и полагаясь на удачу. Вот что я предлагаю. Я намерен попытаться по мере сил изъять письмо у мистера Даваджера. Если мне это не удастся до завтрашнего полудня, вы вручите ему деньги, а я не возьму с вас платы за профессиональные услуги. Если же я добьюсь успеха, вы получите письмо от меня, а не от мистера Даваджера и отдадите деньги мне, а не ему. Я многим рискую, но готов на это пойти. А вы в любом случае заплатите свои пятьсот фунтов. Что вы скажете о моем плане? Да, мистер Фрэнк, или нет?

– Довольно вопросов! – кричит мистер Фрэнк и вскакивает на ноги. – Сами знаете, что да, десять тысяч раз да. Только это вы получите деньги, а я...

– А вы будете рады их мне вручить. Превосходно. Теперь ступайте домой. Успокойте молодую особу, не позволяйте мистеру Даваджеру увидеть вас даже издали, держите язык за зубами и не допускайте и тени сомнения, что все письма в мире не помешают вам в среду жениться.

С этими словами я выпроводил его вон из конторы, поскольку хотел в одиночестве обдумать, как мне поступить.

Первым делом, конечно, требовалось взглянуть на врага. Я написал мистеру Даваджеру, сообщил, что мне частным образом поручено уладить этот небольшой деловой вопрос на дружеских условиях между ним и «другой стороной» (никаких имен!), и попросил зайти ко мне при первой же возможности. Мистер Даваджер начал огорчать меня с первых же шагов в этом деле. Ответ его гласил, что ему будет удобно зайти лишь вечером, часов в шесть-семь. Таким образом, он, сами понимаете, вынудил меня потерять несколько драгоценных часов, когда дорога была, можно сказать, каждая минута. Мне ничего не оставалось, кроме как проявить терпение и отдать моему помощнику Тому некоторые распоряжения до прихода мистера Даваджера.

Нет и не будет на свете четырнадцатилетнего мальчишки смысленнее моего помощника Тома. Первым шагом в деле подобного рода было, безусловно, наладить слежку за мистером Даваджером, а Том был самым маленьким, шустрым, тихим, смысленным и незаметным змее-нышом из всех, кому доводилось красться по следам джентльмена и при этом ловко избегать взгляда этого джентльмена. Я уговорился с мальчиком, что, когда мистер Даваджер придет, он вовсе не покажется, а когда мистер Даваджер соберется уходить, дождетя, когда я прозвоню

в колокольчик. Если я прозвоню дважды, он выйдет и проводит нашего посетителя. Если же я прозвоню один раз, ему следует спрятаться, а затем последовать за этим джентльменом, куда бы он ни направился, и проводить его до самой гостиницы. Других приготовлений я пока сделать не мог и, вынужденный ждать, решил посмотреть, что теперь будет, и лишь тогда делать выводы.

Мой джентльмен пожаловал без четверти семь.

Профессия законника требует от нас довольно тесно общаться с людьми скверными, грязными, мерзкими. Но такого скверного, грязного мерзавца, как мистер Альфред Даваджер, я в жизни не видывал. У него были сальные выцветшие волосы и лицо все в пятнах. Лоб у него был низкий, живот толстый, голос сиплый, а ноги слабые. Глаза у него были налиты кровью, а один еще и закатился. Пахло от мистера Даваджера выпивкой, а в зубах он держал зубочистку.

– Как поживаете? Я только что отужинал, – говорит он, зажигает сигару, садится нога на ногу и подмигивает мне.

Поначалу я пытался подольститься к нему, расположить к себе и получше узнать, но ничего не вышло. Я с улыбкой, словно в шутку, спросил его, откуда у него письмо. В ответ он лишь сказал мне, что состоял на службе у того, кто его написал, и был у него доверенным лицом, а между тем с детства славится умением блюсти свои интересы. Я осыпал его комплиментами, но он оказался не падок на лесть. Я попробовал вывести его из себя, но он сохранял хладнокровие, несмотря на все мои старания. В конце концов я был вынужден прибегнуть к последнему средству – и попытался запугать его.

– Прежде чем мы начнем разговор о деньгах, – начал я, – позвольте мне, мистер Даваджер, расставить все точки над «i». Вы решили воздействовать на мистера Фрэнсиса Гатлиффа угрозами помешать его бракосочетанию в среду. А если, предположим, у меня в кармане ордер на ваш арест, выданный магистратом? Предположим, в соседней комнате сидит констебль, готовый вас задержать. Предположим, я завтра, накануне свадьбы, заявлю, не называя имен, что подозреваю вас в вымогательстве, и потребую задержать вас на сутки до прояснения обстоятельств. А вы, подозрительный незнакомец, предположим, не сможете найти в этом городе никого, кто возьмет вас на поруки. Предположим...

– Пойдите-ка, – говорит мистер Даваджер. – Предположим, я не самый безнадежный тупица из тех, кто носит башмаки. Предположим, я сообразил, что не стоит носить письмо при себе. Предположим, я вручил некий конверт на хранение некоему другу в некоем месте в этом городе. Предположим, в этом конверте лежит письмо, адресованное старику Гатлиффу, а также копия этого письма, предназначенная для редактора местной газеты. Предположим, мой друг получил указания вскрыть конверт и доставить письма по адресам, если я сегодня вечером не приду забрать их. Коротко говоря, мой дорогой сэр, предположим, вы родились вчера, а я – нет! – говорит мистер Даваджер и снова подмигивает мне.

Он не застал меня врасплох: я и не думал, будто письмо может быть при нем. Я притворился, будто сильно опешил и готов пойти на попятный. Мы мигом условились, как решим вопрос о доставке письма и вручении денег. Мне предстояло составить соглашение, ему – подписать. Он не хуже меня понимал, что это соглашение – полнейшая фикция, и сказал мне, что я предлагаю ему составить исключительно с целью содрать с заказчика побольше. При всей своей проницательности тут он ошибся. Соглашение составлялось не ради денег мистера Фрэнка, а ради времени мистера Даваджера. Оно было для меня лишь предлогом отложить выплату пятисот фунтов до трех часов дня во вторник. Поскольку утро вторника мистер Даваджер, по его словам, намеревался посвятить развлечениям, он спросил меня, что стоит посмотреть в городе и окрестностях. Я рассказал ему, и он выбросил зубочистку в мой камин, зевнул и удалился.

Я звякнул в колокольчик один раз, подождал, пока мистер Даваджер пройдет мимо окна, а потом посмотрел, где Том. Вот он, мой золотой мальчик, на той стороне улицы, как раз при-

нялся гонять волчок с самым что ни на есть беззаботным видом. Мистер Даваджер двинулся по улице по направлению к рыночной площади. Том тоже погнал волчок по улице в сторону рынка.

Через четверть часа он вернулся, собрав все нужные сведения, причем изложил их до того ясно и лаконично, что просто прелесть. Мистер Даваджер дошел до питейного заведения у самой окраины, на проулке, который вел к большой дороге. На скамейке у заведения сидел человек и курил. Он спросил: «Порядок?» – и вручил мистеру Даваджеру письмо, а тот ответил: «Порядок!» – и пошел обратно в гостиницу. Там он заказал к себе в номер горячего рома с водой, сигары, шлепанцы и велел растопить камин. После чего отправился наверх, а Том ушел.

Теперь я видел свое будущее очень ясно – не слишком далеко, но все же ясно. Я узнал, где находится письмо, – со всей вероятностью, там оно и пробудет до утра: в «Гербе Гатлиффов». Заплатив Тому, я дал ему поручение слоняться возле двери в гостиницу, а когда устанет, подкрепляться в кондитерской напротив и есть там до отвала при одном условии: все время сидеть у окна и не сводить глаз с гостиницы. Если мистер Даваджер выйдет либо друг мистера Даваджера придет навестить его, Том должен сообщить мне. Кроме того, он должен был отнести записочку от меня старшей горничной, моей давней приятельнице, и попросить сегодня вечером, закончив дела, заглянуть ко мне в контору по личному делу. Уладив все эти мелочи, я обнаружил, что у меня есть полчаса свободных, и принялся хлопотать: разогрел себе копченой селедки в конторском камине, выпил горячего джину с водой и ошутил себя относительно довольным жизнью.

Когда пришла старшая горничная, оказалось – большая удача! – что мистер Даваджер привлек ее самое пристальное внимание к своему уродству, поскольку попытался выказать свое расположение, сорвав поцелуй. Едва я упомянул о нем, горничная принялась рвать и метать, а когда я добавил для верности, что мне поручили отстаивать интересы очень красивой и достойной молодой леди (не упоминая имен, естественно), ставшей жертвой жестоких тайных махинаций со стороны мистера Даваджера, моя приятельница была готова практически на все, лишь бы послужить успеху нашего дела. Короче говоря, я узнал, что рассыльный при гостинице получил указание разбудить мистера Даваджера завтра в восемь и должен, как обычно, забрать его одежду вниз, в чистку. Мы договорились, что, если мистер Д. с вечера не вытащит все из карманов, рассыльный забудет сделать это за него и принесет одежду вниз в том виде, в каком обнаружит ее. Если же карманы мистера Д. окажутся пусты, тогда, разумеется, процесс поисков придется перенести в номер мистера Д. Я мог всецело положиться на старшую горничную, а старшая горничная в свою очередь могла всецело положиться на рассыльного.

Я дождался возвращения Тома – он сильно запыхался, а лицо его приобрело желтушный оттенок, но что касается умственных достоинств, они лишь обострились. Доклад его был чрезвычайно краток и утешителен. Гостиница закрывается на ночь, мистер Даваджер укладывается спать, совсем пьяненький; друг мистера Даваджера не объявлялся. Я отправил Тома (строго-настрога наказав ему наутро глаз не спускать с нашего приятеля) в импровизированную постель за конторским столом – и полночи слушал, как он там икает: и самый хороший мальчик будет икать, если разволнуется и переест пирожных.

В половине седьмого утра я тихонько проскользнул в каморку рассыльного.

Одежду принесли. Брюки без карманов. Жилетные карманы пусты. В карманах сюртука что-то было. Во-первых, платок; во-вторых, связка ключей; в-третьих, портсигар; в-четвертых, бумажник. Разумеется, я не рассчитывал найти там письмо, не настолько я глуп, однако же открыл бумажник, поскольку хотел кое-что уточнить.

В двух кармашках бумажника – ничего, кроме старых объявлений, вырезанных из газет, локона, перевязанного засаленной ленточкой, циркуляра о каком-то кредитном обществе и списка каких-то стишков, которые не пристало бы читать в компании, разве что среди людей исключительно вольных нравов. В записной книжке – чьи-то нацарапанные карандашом адреса

и расписки красными чернилами. На одной страничке – любопытная пометка: «NB. 5 В ДЛИНУ, 4 В ШИРИНУ».

Я понял все, кроме этих слов и цифр, поэтому, разумеется, переписал их себе.

Затем я дождался в каморке, пока рассыльный не вычистит одежду и не отнесет наверх. Вернувшись, он доложил, что мистер Д. спрашивал, хорошая ли нынче погода с утра. Узнав, что хорошая, он велел в девять подать ему завтрак, а к десяти седлать лошадь, поскольку решил отправиться в Гримвитское аббатство – одну из здешних достопримечательностей, о которых я рассказал ему накануне вечером.

– Буду здесь в половине одиннадцатого, зайду с черного хода, – говорю я старшей горничной.

– Зачем? – спрашивает она.

– Хочу избавить вас сегодня от обязанности стелить мистеру Даваджеру постель, но только сегодня, – говорю.

– Какие еще будут распоряжения? – спрашивает она.

– Только одно, – отвечаю. – Хочу на сегодня нанять Сэма. Запишите в книгу приказов, пусть его приведут ко мне в контору в десять.

Если вы вдруг подумали, будто Сэм – это человек, лучше, пожалуй, уточнить, что это был пони. Я рассудил, что Тому будет полезно для здоровья проветриться после пирожных и прогуляться в сторону Гримвитского аббатства в славном жестком седле.

– А еще? – спрашивает старшая горничная.

– Последнее одолжение, – говорю. – Не слишком ли помешает вам мой мальчишка Том, если он с этого момента и до десяти часов побудет здесь и поможет чистить ботинки, а работать будет поближе вот к этому окошку, выходящему на лестницу?

– Ничуть не помешает, – говорит старшая горничная.

– Благодарю, – говорю я и спешу к себе в контору.

Отправив Тома помогать с чисткой обуви, я пересмотрел обстоятельства дела, какими они виделись мне в то время.

Мистер Даваджер мог поступить с письмом тремя способами. Мог снова передать его своему другу до десяти утра – в этом случае Том, скорее всего, увидел бы упомянутого друга на лестнице. Мог сам доставить его этому или какому-то другому другу после десяти – в этом случае Том был готов последовать за ним верхом на пони Сэме. Наконец, он мог спрятать его где-то в гостиничном номере, и в этом случае я был к его услугам с ордером на обыск, который сам себе выдал, и под неизменным покровительством моей приятельницы старшей горничной. Итак, я наилучшим образом подготовил все необходимое для дела и сосредоточил все нити в своих руках. Лишь два обстоятельства тревожили меня: во-первых, опасения, что в моем распоряжении останется ужасно мало времени, если мои первые эксперименты с попытками завладеть письмом окажутся неудачными, во-вторых, странная заметка, которую я переписал к себе в записную книжку: «NB. 5 В ДЛИНУ, 4 В ШИРИНУ».

Скорее всего, это какие-то размеры, и он боялся их забыть; следовательно, это что-то важное. И вот вопрос: это какие-то его мерки? Положим, «пять (дюймов) в длину» – парика он не носит. Положим, «пять (футов) в длину» – это не может быть ни сюртук, ни жилет, ни брюки, ни белье. Положим, «пять (ярдов) в длину» – это уже не чьи-то мерки, если только он не носит вместо кушака веревку, на которой его наверняка повесят рано или поздно. А следовательно, нет, это не его мерки. Что же важно для него, помимо собственных размеров, насколько мне известно? Мне не известно ничего, кроме письма. Может ли заметка иметь к нему отношение? Положим, да. Тогда как понимать это «пять в длину» и «четыре в ширину»? Размеры какого-то предмета, который он носит при себе? Или размеры чего-то у него в номере? Все эти выводы позволяли мне быть вполне довольным собой, однако продвинуться дальше я не имел возможности.

Том вернулся в контору и доложил, что наш приятель отправился на прогулку. Друг не появлялся. Я отправил мальчишку верхом на Сэме, снабдив соответствующими указаниями, написал ободряющую записку мистеру Фрэнку, желая успокоить его, а затем, незадолго до половины одиннадцатого, проскользнул в гостиницу с черного хода. Старшая горничная подала мне знак, когда на лестнице никого не было. Я пробрался в комнату мистера Даваджера и тут же заперся; меня не видела ни одна живая душа, кроме старшей горничной.

Теперь дело в некоторой степени упростилось. Либо мистер Даваджер уехал, прихватив с собой письмо, либо оставил его в надежном тайнике у себя в номере. Я подозревал, что оно в номере, по причине, которая вас несколько удивит: его дорожный сундук, несессер и все ящики и шкафы были открыты. Я изучил своего подопечного и посчитал подобное легкомыслие несколько подозрительным.

Мистер Даваджер занял в «Гербе Гатлиффов» один из лучших номеров. Ковер во весь пол, красивые обои на стенах, кровать с балдахином и в целом обстановка просто первоклассная. Я приступил к обыску – сначала по обычному плану: осмотрел все как можно внимательнее, и на это у меня ушло больше часа. Ничего примечательного. Тогда я достал складной столлярный метр, который прихватил с собой. Нет ли в номере чего-то подходящего под условия «пять в длину» и «четыре в ширину» – в дюймах, футах или ярдах? Ничего. Я убрал метр в карман, – похоже, измерениями делу не поможешь. Нет ли в номере чего-то такого, в чем пять единиц в одну сторону и четыре в другую, хотя измерения ничего подобного не дали? К этому времени я твердо убедил себя, что письмо в номере, и не желал отказываться от этой мысли, главным образом потому, что потратил на поиски столько сил. А убедив себя в этом, я вбил себе в голову – не менее упрямо, – что «пять в длину» и «четыре в ширину» – это подсказка, которая позволит мне найти письмо, главным образом потому, что после всех поисков и расчетов я не мог допустить и тени мысли, будто нужно руководствоваться чем-то иным. «Пять в длину» – где в номере, в любом его уголке, я могу насчитать пять в длину?

Не на обоях. Они были с узором из увитых гирляндами колонн и шпалер по гладкому зеленому полю – только четыре колонны на длинной стене и только две на короткой. Мебель? Здесь не было ни пяти стульев, ни пяти других отдельных предметов обстановки. Фестоны оборок на карнизе кровати? По крайней мере, их тут много! Я запрыгнул на покрывало с ножом для бумаг в руке. Перепробовал все способы сосчитать эти несчастные фестоны, тыкал в них ножом, скреб ногтями, мял пальцами. Без толку – ни следа письма, а время уже поджимало – о Небеса, до чего же быстро текло время тем утром в номере мистера Даваджера!

Я соскочил с кровати в полнейшем отчаянии от своего невезения, и мне стало уже безразлично, что меня могут услышать. Когда я спрыгнул на ковер, из-под ног у меня поднялось заметное облачко пыли.

«Ну и ну! – подумал я. – Тут моя приятельница старшая горничная дает себе поблажку. Надо же, до чего довели ковер, а ведь это один из лучших номеров в „Гербе Гатлиффов“».

Ковер! Я прыгал по кровати, осматривал стены, все смотрел наверх – но вниз, на ковер, даже не покосился. Какой же я законник, в самом деле, если не умею заглядывать, где пониже?!

Ковер! Когда-то он был славным добротным изделием, начинал, по всей видимости, в чьей-нибудь гостиной, потом был разжалован до столовой, потом и вовсе был сослан наверх, в спальню. По коричневому полю шел узор из разбросанных через равные промежутки букетов – розы и листья. Я посчитал букеты. Десять вдоль комнаты, восемь поперек. Когда я отсчитал пять в одну сторону и четыре в другую и опустился на колени на центральный букет – вот клянусь вам, не сидеть мне сейчас в этом кресле: сердце у меня так громко грохотало в ушах, что я испугался.

Я рассмотрел букет во всех подробностях, прощупал его кончиками пальцев – но мне это ничего не дало. Тогда я поскреб его ногтями – медленно и осторожно. Ноготь на указательном пальце за что-то зацепился. Я развел в стороны ворс ковра в том месте и увидел узкий разрез,

совершенно незаметный, если приглядеть ворс, – разрез в полдюйма длиной, из которого торчал кончик коричневой нитки – точь-в-точь в тон ковра – длиной примерно в четверть дюйма. Я осторожно схватился за нитку – и тут за дверью послышались шаги.

Это была всего лишь старшая горничная.

– Вы еще не закончили? – шепнула она.

– Две минуты! – отвечаю я. – И не подпускайте к двери никого – делайте что хотите, только не давайте никому подойти к двери и еще раз напугать меня.

Я тихонечко потянул за нитку и услышал шорох. Потянул еще – и вытащил клочок бумаги, свернутый туго-туго: так дамы сворачивают листки бумаги, чтобы зажигать от них свечи. Развернул – и, клянусь святым Георгием, это было то письмо!

То самое письмо! Я сразу понял по цвету чернил. Это письмо принесет мне пятьсот фунтов! Я едва не швырнул шляпу в потолок и не закричал «ура», словно сумасшедший. Пришлось взять стул и минуту-другую посидеть неподвижно, прежде чем удалось успокоиться и прийти в подобающее деловое настроение. Я понял, что наконец-то достаточно остыл, когда поймал себя на мысли, как же довести до сведения мистера Даваджера, что его обвел вокруг пальца желторотый деревенский законник.

Вскоре в голове у меня сложился славный маленький дерзкий план. Я вырвал из своей записной книжки чистую страницу и написал на ней карандашом: «Сдача с пятисотфунтовой банкноты», сложил бумажку, привязал к ней нитку, сунул обратно в тайник, разгладил ворс на ковре и помчался к мистеру Фрэнку. Тот, в свою очередь, помчался показать письмо молодой особе, которая сначала подтвердила его подлинность, потом бросила его в огонь, а затем впервые с момента помолвки по собственному почину обвила руками шею мистера Фрэнка, поцеловала изо всех сил и закатила истерику прямо у него в объятиях. По крайней мере, так рассказал мне мистер Фрэнк, а его показаниям верить не стоит. Зато моим стоит – а я своими глазами видел, как они сочетались браком в среду, а когда они отбыли в свадебное путешествие в карете, запряженной четверкой, отправился на своих двоих открывать счет в банке графства, и в кармане у меня лежала пятисотфунтовая банкнота.

Что касается мистера Даваджера, о нем я не могу сообщить больше ничего, помимо сведений, полученных от третьих лиц, а на подобного рода показания нельзя полагаться, даже если слышишь их из уст законника.

Мой драгоценный помощник Том, хотя пони Сэм дважды сбросил его, не выпустил поводьев и с начала до конца прогулки не спускал глаз с нашего подопечного. Ничего особенного он не доложил, кроме того, что по пути обратно из аббатства мистер Даваджер заглянул в то же самое питейное заведение, перекинулся несколькими словами со вчерашним другом и вручил ему что-то похожее на клочок бумаги. Несомненно, это были указания, где найти нитку, к которой было привязано письмо, на случай непредвиденных обстоятельств. Во всех прочих отношениях мистер Д. прокатился туда и обратно, словно обычный приезжий, решивший полюбоваться видами. Том доложил мне, что он спешил у гостиницы около двух часов. В половине третьего я запер дверь конторы, повесил под дверной молоток визитную карточку с надписью «Нет дома до завтра» и отправился на остаток дня погостить к другу, жившему примерно в миле за городом.

Согласно сообщениям, полученным мною впоследствии, мистер Даваджер тем вечером покинул «Герб Гатлиффов», облачившись в свой лучший костюм и забрав с собой все ценное из своего несессера. Мне не известно достоверно, расплатился ли он по счету, однако я готов показать под присягой, что нет, не расплатился, а оставшееся в номере имущество не покрыло убытков. Теперь я добавлю к этим обрывочным сведениям, что мы с ним ни разу не встречались (большая удача для меня, согласитесь) с тех самых пор, когда я ловко лишил его банкноты, и тем самым исполню свои обязательства по договору как податель заявления, а вы, сэр, – как слушатель заявления. Обратите внимание на термины! Я сказал, что это будет заяв-

ление, прежде чем приступить к рассказу, а теперь, закончив рассказ, повторяю, что это было заявление. Я запрещаю вам доказывать, что это была история! Хорошо ли продвигается мой портрет? Вы мне по душе, мистер художник, но мой рассказ стал для вас поводом отлынивать от работы, я подам на вас жалобу в городской совет!

Прежде чем портрет был завершен, я много раз приходил домой к своей удивительной модели. Бокшес до последнего выражал недовольство ходом моей работы. К счастью для меня, когда портрет был готов, городской совет его одобрил. Правда, мистер Бокшес возражал против такого решения и утверждал, будто городскому совету слишком легко угодить. Он не оспаривал похожесть изображения, однако, по его расчетам, я положил на холст лишь половину красок, за которые было заплачено. И по сей день, если он еще жив, он говорит обо мне любопытствующим друзьям: «Тот художник, который обвел вокруг пальца городской совет».

Пролог к третьему рассказу

Печальным был для меня тот день, когда мистер Ланфрей из Роклей-плейс, узнав, что здоровье его младшей дочери требует более теплого климата, переехал из своего английского поместья на юг Франции. Поскольку я вынужден постоянно перебираться с места на место, у меня много знакомых, однако мало друзей. В основном дело в моем призвании – такова его природа, и я это прекрасно понимаю. Люди не виноваты, что забывают человека, который, покидая их дом, не в состоянии точно сказать, когда снова объявится в их краях.

Мистер Ланфрей был редким исключением из этого правила и всегда меня помнил. Я бережно и благодарно храню доказательства его дружеского интереса к моему благополучию в виде писем. Последнее из них – приглашение приехать погостить к нему на юг Франции. Сейчас я едва ли в состоянии воспользоваться его добротой, но люблю время от времени перечитывать его письмо, поскольку в счастливые минуты могу и помечтать, что в один прекрасный день приму приглашение.

Мое знакомство в качестве художника-портретиста с этим джентльменом сулило мне с профессиональной точки зрения не слишком много. Меня пригласили в Роклей-плейс, то есть в Поместье, как его обыкновенно называли местные жители, чтобы написать небольшой акварельный портрет француженки-гувернантки дочерей мистера Ланфрея, жившей в доме. Услышав об этом, я сразу заключил, что гувернантка намерена уволиться и покинуть дом, а ее воспитанницы хотят оставить ее портрет себе на память. Однако дальнейшие расспросы показали, насколько я заблуждался. Покинуть дом собиралась старшая дочь мистера Ланфрея, которой предстояло сопровождать мужа в Индию, и именно для нее был заказан портрет, который должен будет напоминать о доме и о ее лучшей и ближайшей подруге. Помимо этих частных дел, я узнал, что гувернантка, которую до сих пор называли «мадемуазель», на самом деле старушка, что мистер Ланфрей много лет назад, после смерти жены, познакомился с ней во Франции, что она стала полновластной хозяйкой дома, а три ее воспитанницы считали ее второй матерью с тех самых пор, как отец вверил их ее заботам.

Эти обрывки сведений заставили меня с нетерпением ждать встречи с мадемуазель Клерфэ – так звали гувернантку.

В тот день, когда мне было назначено явиться в уютное поместье Роклей-плейс, я задержался в пути и прибыл на место лишь поздно вечером. Мистер Ланфрей встретил меня с радушием, ставшим ярким примером неизменной доброты, которую мне довелось видеть от него в дальнейшем. Я сразу был принят как равный, словно друг семьи, и в тот же вечер был представлен дочерям хозяина. Эти три юные дамы не просто были элегантны и обаятельны, но и могли бы послужить тремя чудесными моделями для портретов, что гораздо важнее, – особенно новобрачная. Ее молодой супруг поначалу показался мне довольно заурядным – он был молчалив и застенчив. Когда меня представили ему, я огляделся в поисках мадемуазель Клерфэ, но ее нигде не было, а вскоре мистер Ланфрей сообщил мне, что вечер она всегда проводит у себя.

Наутро за завтраком я снова ожидал увидеть мою модель – и снова напрасно.

– Мама, как мы ее называем, наряжается, чтобы позировать вам, мистер Керби, – сказала одна из юных дам. – Надеюсь, вы не считаете ниже своего достоинства писать шелк, кружева и драгоценности. Милая старушка, совершенство во всех прочих отношениях, обладает и совершенным вкусом в одежде и хочет непременно предстать на портрете во всем великолепии.

После подобных объяснений я был готов увидеть нечто незаурядное, однако, когда мадемуазель Клерфэ наконец явилась и объявила, что готова позировать, реальность превзошла все мои самые смелые ожидания.

Ни до, ни после не случалось мне видеть такой изысканный наряд в сочетании с такой живостью ума и тела в преклонные годы. Мадемуазель оказалась маленькой и тоненькой, с

идеально белым лицом и кожей, покрытой густой затейливой сеточкой самых мелких на свете морщинок. Ясные черные глаза – настоящее чудо молодости и жизнерадостности. Они сверкали, сияли, вбирали в себя и охватывали все и вся вокруг с такой быстротой, что простая седая прическа казалась неестественно чинной, а морщинки – словно бы искусным маскарадом, призванным создать впечатление старости. Что же касается ее наряда, мне редко приходилось сталкиваться с настолько сложной задачей для художника. На мадемуазель было серебристо-серое шелковое бальное платье, которое при каждом движении отливало новыми цветами. Оно было жесткое, как доска, и шелестело, будто листва на ветру. Голова, шея и декольте были задрапированы облаками воздушного кружева, нежнее которого мне не доводилось видеть, и оно подчеркивало все достоинства мадемуазель донельзя изысканно и благопристойно и при этом то и дело поблескивало в неожиданных местах, поскольку было расшито тонкими, словно из волшебной сказки, узорами из золота и самоцветов. На правой руке у мадемуазель было три узких браслета со вплетенными в них волосами трех ее воспитанниц; на левой – один широкий с миниатюрой на застежке. На плечи мадемуазель была кокетливо наброшена темно-коричневая шаль с золотым шитьем, в руках – прелестный небольшой веер из перьев. Когда она вышла в этом наряде – с ослепительной улыбкой и кратким реверансом, – наполнив комнату ароматом духов и грациозно играя веером, я тут же утратил всякую веру в свои способности портретиста. Самые яркие краски в моей коробке потускнели и поскучнели, а сам я почувствовал себя нематым, нечесаным, невзрачным неряхой.

– Скажите, мои ангелочки, – молвила мадемуазель, обращаясь к воспитанницам с прелестнейшим французским акцентом, – разве я сегодня не конфетка из конфеток? С должным ли великолепием я несу груз своих шестидесяти лет? Разве не воскликнут индийские дикари: «Ах! Вот это роскошь! Вот это роскошь! Умеет же она наряжаться!» – когда наш ангелочек покажет им мой портрет? А этот господин, искусный художник, знакомство с ним для меня даже больше честь, чем удовольствие, – нравится ли ему такая натурщица? Находит ли он меня очаровательной с головы до пят, приятно ли ему будет рисовать меня?

Она снова присела передо мной в кратком реверансе, приняла томную позу в предназначенном для нее кресле и осведомилась, похожа ли она на дрезденскую фарфоровую пастушку.

Юные дамы залиvisto рассмеялись, и мадемуазель присоединилась к общему веселью – не менее задорно и значительно более звонко. В жизни не было у меня модели непоседливей этой чудесной старушки. Только я хотел приступить, как она вскочила с кресла и с возгласом: «*Grand Dieu!*²² Я забыла с утра обнять своих ангелочков!» – подбежала к воспитанницам, приподнялась перед каждой на цыпочки, прикоснулась указательными пальцами к их щекам и наскоро расцеловала – и снова уселась в кресло прежде, чем английская гувернантка успела бы произнести: «Доброе утро, мои дорогие, надеюсь, вы хорошо спали этой ночью».

Я приступил снова. Мадемуазель вскочила во второй раз и перебежала через комнату к пише.

– Нет! – услышал я ее шепот. – Я не растрепала прическу, когда целовала своих ангелочков. Можно вернуться и позировать.

Она вернулась. Я успел поработать самое большее пять минут.

– Постойте! – воскликнула мадемуазель и вскочила в третий раз. – Ведь мне нужно посмотреть, как продвигается дело у нашего мастера! *Grand Dieu!* Почему же он еще ничего не нарисовал?!

Я приступил в четвертый раз – и старая дама в четвертый раз вскочила с кресла.

– Мне необходимо размяться, – объявила мадемуазель и легкими шагами прошла по комнате из конца в конец, напевая себе под нос французскую песенку: так она отдыхала.

²² Боже правый! (фр.)

Я уже не знал, что и поделывать, и молодые дамы это заметили. Они окружили мою неуправляемую натурщицу и взмолились о милосердии ко мне.

– В самом деле! – воскликнула мадемуазель, в знак изумления вскинув руки с растопыренными пальцами. – Но в чем же вы упрекаете меня? Я здесь, я готова, я к услугам нашего мастера. В чем же вы меня упрекаете?

Тут я, к счастью, задал случайный вопрос, который заставил ее на некоторое время успокоиться. Я поинтересовался, какой портрет она хочет – в полный рост или только лицо. В ответ мадемуазель разразилась комически-возмущенной тирадой. Она посчитала меня человеком одаренным и отважным, и если я и вправду таков, то должен быть готов изобразить ее всю до последнего дюйма. Наряды – ее страсть, и я оскорблю ее до глубины души, если не воздам должное всему, что на ней сейчас надето, – и платью, и кружевам, и шали, и вееру, и кольцам, и камням, а главное – браслетам. При мысли о вставшей передо мной неподъемной задаче я застонал, но почтительно поклонился в знак согласия. Одного поклона мадемуазель было недостаточно, и она пожелала ради собственного удовольствия обратить мое пристальное внимание – если я окажу ей любезность и подойду к ней – на один из ее браслетов, тот, что с миниатюрой, на левом запястье. Это подарок ее самого драгоценного друга, и на миниатюре изображено его прелестное, обожаемое лицо. Если бы я только мог повторить на своем рисунке крошечную, крошечную копию этого портрета! Не сделаю ли я одолжения, не подойду ли к ней на одну маленькую секундочку, чтобы посмотреть, возможно ли исполнить ее просьбу?

Я повиновался без особого желания, поскольку со слов гувернантки решил, будто сейчас увижу заурядный портрет незадачливого обожателя, с которым она в дни своей юности обошлась с незаслуженной суровостью. Однако удивлению моему не было предела: миниатюра, написанная очень красиво, изображала женщину – молодую женщину с добрыми печальными глазами, бледным нежным лицом, светлыми волосами и таким чистым, беззащитным, милым выражением, что мне при первом же взгляде на портрет вспомнились мадонны Рафаэля.

Старая дама заметила, что портрет произвел на меня должное впечатление, и молча склонила голову.

– Какое красивое, невинное, чистое лицо! – сказал я.

Мадемуазель Клерфэ бережно смахнула платочком пылинку с миниатюры и поцеловала ее.

– У меня есть еще три ангелочка. – Она посмотрела на воспитанниц. – Они утешают меня, когда я думаю о четвертом, ушедшем на Небеса.

Она нежно погладила миниатюру тоненькими, сухонькими белыми пальчиками, словно это было живое существо.

– Сестрица Роза! – Она вздохнула, а затем, снова посмотрев на меня, продолжила: – Я бы хотела, сэр, чтобы и она попала на портрет, поскольку с юности ношу этот браслет, не снимая, в память о Сестрице Розе.

Столь внезапная перемена настроения из крайности в крайность – от легкомысленного веселья до тихой скорби – у уроженки любой другой страны показалась бы наигранной. Однако у мадемуазель она была совершенно естественной и уместной. Я вернулся к работе, несколько растерянный. Что это за «Сестрица Роза»? Очевидно, не из семейства Ланфрей. При упоминании этого имени юные дамы сохранили полнейшее спокойствие, – очевидно, оригинал миниатюры не состоял с ними в родстве.

Я попытался побороть любопытство относительно Сестрицы Розы, всецело углубившись в работу. Целых полчаса мадемуазель Клерфэ сидела передо мной смирно, сложив руки на коленях и не сводя глаз с браслета. Эта счастливая перемена позволила мне продвинуться к завершению наброска ее лица и фигуры. При удачном стечении обстоятельств я мог бы в один прием покончить со всеми трудностями предварительной работы, но в тот день судьба отвернулась от меня. Я быстро и с удовольствием работал, но тут в дверь постучал слуга и

сообщил, что ленч подан, – и мадемуазель мигом отбросила все печальные размышления и больше не смогла сидеть спокойно.

– Ах, ничего не поделаешь! – воскликнула она и повернула браслет, спрятав миниатюру. – В сущности, все мы не более чем животные. Наша духовная составляющая во всем подвластна желудку. Сердце мое поглощено нежными раздумьями, но тем не менее я не прочь поесть! Идемте, дети мои и собратья. *Allons cultiver notre jardin!*²³

С этой цитатой из «Кандида»²⁴, произнесенной сокрушенным тоном, пожилая дама удалилась, а ее юные воспитанницы последовали за ней. Старшая сестра на миг задержалась в комнате и напомнила мне, что стол накрыт.

– Боюсь, вы сочли милую старушку непослушной натурщицей, – сказала она, обратив внимание, с каким недовольством я смотрю на свой рисунок. – Но она исправится, вы только продолжайте. Ведь в последние полчаса она уже начала вести себя лучше, не так ли?

– Значительно лучше, – отозвался я. – По всей видимости, мое восхищение миниатюрой отчего-то подействовало на мадемуазель Клерфэ успокоительно – вероятно, пробудило в ней давние воспоминания.

– О да! Стоит напомнить ей об оригинале портрета, и она словно преображается, что бы ни делала и ни говорила. Иногда она часами рассказывает о Сестрице Розе и обо всех испытаниях, которые выпали на ее долю во времена Французской революции. Это невероятно увлекательно, по крайней мере на наш взгляд.

– Надо полагать, дама, которую мадемуазель Клерфэ называет Сестрицей Розой, – какая-то ее родственница?

– Нет, просто очень близкая подруга. Мадемуазель Клерфэ – дочь торговца шелком из Шалона-на-Марне. Ее отец когда-то приютил у себя в конторе одинокого старика, перед которым Сестрица Роза и ее брат были в неоплатном долгу со времен Революции, и по стечению обстоятельств, связанных с этим, и состоялось знакомство мадемуазель с ее подругой, с портретом которой она теперь не расстается. Отец мадемуазель разорился, и с тех самых пор и до того дня, когда нас вверили ее попечению, наша славная старая гувернантка, Сестрица Роза и ее брат много лет жили вместе. Должно быть, именно тогда она узнала все те интересные истории, которые так часто пересказывала нам с сестрами.

– Могу ли я заключить, что, если я хочу получить возможным образом изучить лицо мадемуазель Клерфэ на следующем сеансе, мне следует снова напомнить ей о миниатюре, поскольку эта тема успокаивает ее, и о событиях, которые пробуждает в ее памяти этот портрет? Насколько я убедился этим утром, другого выхода нет, иначе ни мне, ни моей натурщице ничего не добиться.

– До чего же я рада это слышать! – отвечала юная дама. – Мы с сестрами легко поможем вам в этом деле, для нас нет ничего проще. Стоит нам лишь обронить словечко – и мадемуазель сразу начинает и думать, и говорить о подруге своей юности. Положитесь во всем на нас. А теперь позвольте проводить вас к столу.

Готовность, с которой дочери моего заказчика откликнулись на мою просьбу о помощи, привела к двум прекрасным результатам. Я успешно написал портрет мадемуазель Клерфэ – и услышал историю, изложенную на следующих страницах.

Два предыдущих раза я лишь повторял все, что мне рассказывали, стараясь по возможности передать слова моих моделей. В случае третьей истории последовать тому же правилу оказалось невозможно. Обстоятельства запутанной истории Сестрицы Розы я слышал несколько раз, но рассказ о них был в высшей степени отрывочным и непоследовательным. Мадемуа-

²³ Давайте возделывать наш сад! (фр.)

²⁴ «Кандид, или Оптимизм» – самая популярная повесть французского писателя и философа Вольтера, названная по имени ее главного героя.

зель Клерфэ с присущей ей живостью украшала основную сюжетную линию своего рассказа не только отсылками к местам и людям, не имеющим к ней ни малейшего видимого отношения, но и страстными политическими выступлениями крайне либерального толка – не говоря уже о всяческих нежных замечаниях о своей любимой подруге, которые из ее уст звучали претемно, но при переносе на бумагу полностью потеряли бы свое обаяние. Поэтому я решил, что лучше всего рассказать эту историю по-своему, при этом строго придерживаясь канвы событий и ничего не добавляя от себя, дабы не нарушать последовательности эпизодов и в то же время представлять их, насколько это в моих силах, разнообразно и интересно для читателей.

Рассказ француженки-гувернантки о Сестрице Розе

Часть первая

Глава I

– Ну, мосье Гийом, какие новости?

– Особенно никаких, мосье Жюстен, не считая того, что у мадемуазель Розы завтра свадьба.

– Премного обязан вам, мой почтенный старинный друг, за столь любопытный и неожиданный ответ на мой вопрос. Ведь я состою в услужении при мосье Данвиле, а он в небольшой матримониальной комедии, о которой вы упоминаете, играет почетную роль жениха, поэтому, думаю, я могу заверить вас – только не обижайтесь: ваши новости, с моей точки зрения, уже сильно запылились. Угоститесь табачком, мосье Гийом, и извините меня, если я скажу вам, что мой вопрос касался новостей общественной жизни, а не личных дел двух семейств, чьи частные интересы мы имеем удовольствие отстаивать.

– Не понимаю, что вы подразумеваете под отстаиванием частных интересов, мосье Жюстен. Я слуга мосье Луи Трюдена, который живет здесь со своей сестрой мадемуазель Розой. Вы – слуга мосье Данвиля, чья достойнейшая матушка устроила его сватовство к моей хозяйке. Мы с вами – слуги, а значит, для нас нет приятнее и значительнее новостей, чем события, касающиеся счастья наших господ. Я не имею никакого отношения к общественной жизни, а поскольку принадлежу к старой школе, сделал главной задачей своей жизни не вмешиваться в чужие дела. Если ваша личная домашняя политика вам настолько не интересна, позвольте мне выразить сожаление и пожелать вам всего самого наилучшего.

– Простите меня, мой дорогой мосье, но я не питаю ни малейшего почтения к старой школе и ни малейшей симпатии к тем, кто печется только о своих делах. Однако принимаю ваши заверения в сожалении, взаимно желаю вам всего самого наилучшего и не сомневаюсь, что к следующему разу, когда мне выпадет честь видеть вас, вы достигнете успехов в усовершенствовании своего характера, одежды, манер и внешности. Прощайте, мосье Гийом, и *vive la bagatelle!*²⁵

Этот краткий диалог состоялся чудесным летним вечером в тысяча семьсот восемьдесят девятом году у задней двери домика на берегу Сены, милях в трех к западу от Руана. Один собеседник был худой, старый, брюзгливый и неопрятный; другой – упитанный, молодой, сладкоречивый и облаченный в роскошнейшую ливрею по моде того времени. Во всем цивилизованном мире приближались последние дни подлинного дендизма, а мосье Жюстен был одет по-своему идеально – живая картинка уходящей славной эпохи.

Когда старый слуга удалился, мосье Жюстен – не без снисходительности – посвятил несколько минут разглядыванию заднего фасада домика, возле которого он стоял. Судя по окнам, в доме было комнат шесть-восемь, не больше. Вместо конюшни и надворных построек к дому с одной стороны была пристроена оранжерея, а с другой – низкий и длинный деревянный флигель, броско выкрашенный. Одно окно в этом флигеле было занавешено, и за ним виднелся буфет, уставленный бутылочками с жидкостями диковинных цветов, всевозможные хитроумные инструменты из меди и бронзы, край большой печи и прочие принадлежности,

²⁵ Да здравствует легкомыслие! (фр.)

красноречиво свидетельствовавшие, что это помещение отведено под химическую лабораторию.

– Подумать только – брат нашей невесты развлечения ради варит в этом сарае зелья в кастрюльках, – пробормотал мосье Жюстен, заглядывая в окно. – Я далеко не самый привередливый человек на свете, но, должен сказать, жалею, что мы собираемся вступить в родство по браку с аптекарем-любителем. Фу! Даже отсюда чую, как там пахнет!

С этими словами мосье Жюстен с гримасой отвращения повернулся спиной к лаборатории и не спеша зашагал к нависающим над рекой утесам.

Покинув сад при доме, он поднялся на невысокий холм по извилистой тропинке, очутился на вершине, откуда открывался прекрасный вид на Сену с ее прелестными зелеными островами, пышными лесами по берегам, проворными лодками и маленькими домиками, разбросанными там и сям у воды. К западу, где за противоположным берегом реки расстилались поля, пейзаж был залит закатным багрянцем. К востоку, на сколько хватало глаз, тянулись длинные тени, перемежавшиеся неяркими полосами света, плясали на воде красные отблески, а в окнах домов, отражавших низкое солнце, ровно горело рубиновое пламя – а дальше за извилами Сены виднелись шпили, башни и улицы Руана, за которыми в дальней дали высились лесистые холмы. Этот пейзаж всегда был отрадой для глаз, а теперь, залитый великолепным вечерним светом, стал просто сверхъестественно прекрасен. Однако лакей словно не замечал всех этих красот – он стоял, позевывая и сунув руки в карманы, и не смотрел ни направо, ни налево, а глядел лишь прямо перед собой в небольшую лощину, за которой земля плавно поднималась к краю обрыва. Там стояла скамейка, а на ней сидели трое – пожилая дама, какой-то господин и юная девушка – и любовались закатом, по стечению обстоятельств повернувшись к мосье Жюстену спиной. Рядом с ними стояли еще двое и тоже смотрели вдаль, на реку. Эти пять фигур и привлекли внимание лакея, заставив позабыть обо всем вокруг.

– Расселись, – пробурчал он недовольно себе под нос. – Мадам Данвиль на прежнем месте на скамье; мой господин, жених, рядом с ней, сама почтительность; мадемуазель Роза, невеста, рядом с ним, сама стыдливость; мосье Трюден, ее брат, аптекарь-любитель, – рядом с ней, сама заботливость; и придурковатый мосье Ломак, наш управляющий, сама услужливость – вдруг им что-то понадобится. Вот они все – ума не приложу, как можно тратить столько времени, глядя в пустоту! Да, – продолжал мосье Жюстен, устало подняв глаза и всмотревшись в даль, сначала в сторону Руана, вверх по реке, затем на закат, вниз по реке, – да, чума на них, день-деньской глядят в пустоту, в полную и абсолютную пустоту!

Тут мосье Жюстен снова зевнул и, вернувшись в сад, уселся под раскидистым деревом и смиренно уснул.

Если бы лакей подошел поближе к пяти фигурам, которых он клеймил издали, и если бы обладал чуть более развитой наблюдательностью, он едва ли упустил бы из виду, что и завтрашние новобрачные, и их спутники с обеих сторон были в большей или меньшей степени скованы какой-то тайной мыслью, которая влияла и на их разговоры, и на жесты, и даже на выражения лиц. Мадам Данвиль – статная, богато одетая старая дама с весьма пронизательными глазами и резкой, недоверчивой манерой держаться – была сдержанна и, казалось бы, всем довольна, но лишь пока смотрела на сына. Когда же ей случалось обратиться к его невесте, по лицу ее пробегала еле заметная тень беспокойства – беспокойства, которое сменялось неприкрытым недовольством и подозрительностью, когда она смотрела на брата мадемуазель Трюден. Подобным же образом и манеры, и выражение лица ее сына, который весь сиял от счастья, когда разговаривал с будущей женой, заметно менялись – в точности как у матери, – когда ему случалось обратить особое внимание на присутствовавшего здесь мосье Трюдена. Да и Ломак, управляющий, тихий, умный, тощий Ломак с его вечным смирением и красными глазами, стоило ему взглянуть на будущего шурина своего господина, тут же отводил глаза с явным смущением и задумчиво сверлил дырки в дерне своей длинной заостренной тростью.

Даже сама невеста – прелестная невинная девушка, по-детски застенчивая, – заразилась общим настроением. Время от времени лицо ее омрачали сомнения, если не страдания, и рука, которую держал в своих ладонях ее возлюбленный, слегка дрожала; когда же мадемуазель Розе случалось перехватить взгляд брата, она явно смущалась.

Как ни поразительно, ни в облике, ни в манерах человека, чье присутствие, очевидно, по неизвестной причине настолько смущало будущих супругов и их родных, не было ничего отталкивающего, – напротив, он лишь располагал к себе. Луи Трюден был исключительно красив. Выражение его лица отличалось добротой и приветливостью, а открытость, мужественная твердость и сдержанность были непреодолимо обаятельны. Даже если он что-то говорил, его слова никого не могли задеть – как и поведение, – поскольку он открывал рот лишь для того, чтобы учтиво ответить, когда ему задавали прямой вопрос. Судя по тщательно скрываемым ноткам грусти в голосе и печальной нежности, затуманивавшей его добрые, серьезные глаза, стоило ему посмотреть на сестру, в его мыслях не было места ни радости, ни надеждам. Однако он не позволял себе прямо выразить свои чувства и не навязывал своей тайной грусти, чем бы она ни объяснялась, никому из своих спутников. Тем не менее при всей скромности и сдержанности Трюдена его присутствие, очевидно, пробуждало в душе всех окружающих то ли печаль, то ли угрызения совести и омрачало канун свадьбы и для жениха, и для невесты.

Солнце медленно опускалось к горизонту, и разговор постепенно иссякал. После долгого молчания жених первым предложил новую тему.

– Роза, любовь моя, – сказал он, – этот великолепный закат – хорошая примета для нашей свадьбы; он сулит на завтра еще один погожий денек.

Невеста засмеялась и покраснела:

– Вы верите в приметы, Шарль?

– Если Шарль и верит в приметы, моя милая, смеяться тут не над чем, – вмешалась пожилая дама, не дав сыну ответить. – Когда вы станете его женой, быстро отучитесь выражать сомнения в его словах, даже в мелочах, когда кругом полно посторонних. Все его убеждения имеют под собой самую надежную основу, и если бы я считала, что он и в самом деле верит в приметы, я, несомненно, и сама приучила бы себя в них верить.

– Прошу прощения, мадам, – дрожащим голосом начала Роза, – я лишь хотела...

– Дитя мое, неужели вы настолько плохо знаете жизнь, что можете предположить, будто могли задеть меня...

– Дайте Розе договорить, – сказал молодой человек.

При этих словах он повернулся к матери с надутым видом, точь-в-точь балованный ребенок. Миг назад мать взирала на него с любовью и гордостью. Теперь же она недовольно отвела взгляд от его лица, помолчала, внезапно растерявшись, что было явно чуждо ее характеру, а затем шепнула ему на ухо:

– Разве я виновата, если хочу сделать ее достойной тебя?

Ее сын словно и не слышал вопроса. И лишь резко повторил:

– Дайте Розе договорить.

– На самом деле я ничего не хотела сказать, – пролепетала девушка, все более и более смущаясь.

– Да нет же, хотели!

Так грубо и резко прозвучал его голос, такая отчетливая досада сквозила в нем, что мать предостерегающе притронулась к руке сына и шепнула:

– Тсс!

Мосье Ломак, управляющий, и мосье Трюден, брат невесты, разом вопросительно покоились на девушку, едва с губ жениха сорвались эти слова. Она, по всей видимости, испугалась и удивилась, но не обиделась и не рассердилась. На узком лице Ломака проступила заинтересованная улыбка, но он скромно уставился в землю и начал буравить в дерне новую дырку

острым концом трости. Трюден тут же отвел глаза и со вздохом отошел на несколько шагов, затем вернулся и хотел было заговорить, но Данвиль опередил его:

– Простите меня, Роза. Слишком уж ревностно я слежу, чтобы вы не испытывали недостатка во внимании, вот и расстраиваюсь порой безо всяких оснований.

С этими покаянными словами он поцеловал ей руку, очень нежно и изящно, но в глазах его мелькнуло выражение, шедшее вразрез с этим показным жестом. Этого не заметил никто, кроме наблюдательного и смиренного мосье Ломака, который снова улыбнулся про себя и принялся еще усерднее буравить дырку в траве.

– По-моему, мосье Трюден собирался что-то сказать, – произнесла мадам Данвиль. – Вероятно, он не будет возражать и позволит нам выслушать себя.

– Конечно, мадам, – учтиво отвечал Трюден. – Я собирался признаться, что это я виноват, если Роза без должного почтения относится к тем, кто верит в приметы: это я с детства приучал ее смеяться над всякого рода суевериями.

– Вы смеетесь над суевериями? – воскликнул Данвиль, порывисто повернувшись к нему. – Вы, человек, выстроивший лабораторию, посвятивший свой досуг изучению оккультного искусства химии, искатель эликсира жизни?! Право слово, вы меня поражаете!

В его голосе, глазах и манере сквозила саркастическая учтивость, по всей видимости прекрасно знакомая его матери и управляющему мосье Ломаку. Первая снова притронулась к руке сына и шепнула: «Осторожней!» – второй вдруг посерьезнел и перестал буравить дырку в траве. Роза не слышала предостережений мадам Данвиль и не заметила перемены в поведении Ломака. Она повернулась к брату и с сияющей, нежной улыбкой ждала, что он ответит. Он кивнул, словно хотел подбодрить ее, а затем снова обратился к Данвилю.

– У вас излишне романтические представления о химических экспериментах, – негромко проговорил он. – Мои опыты не имеют ни малейшего отношения к тому, что вы называете оккультными искусствами: я готов показать их хоть всему миру, если только мир сочтет это достойным зрелищем. Единственные эликсиры жизни, о которых мне известно, – это спокойное сердце и удовлетворенный ум. И то и другое я обрел много лет назад, когда мы с Розой поселились в этом домике.

В голосе его прозвучала затаенная печаль, что для его сестры означало гораздо больше, чем произнесенные простые слова. На глаза у нее навернулись слезы, она на миг отвернулась от жениха и взяла брата за руку.

– Не надо так говорить, Луи, словно вы потеряете сестру, ведь... – Губы у нее задрожали, и она осеклась.

– Все сильнее ревнует, боится, что вы отнимете ее у него! – зашептала мадам Данвиль на ухо сыну. – Тсс! Не обращайтесь внимания, ради всего святого! – добавила она поспешно, поскольку мосье Данвиль встал и шагнул к Трюдену, не скрывая раздражения и досады.

Однако он не успел ничего сказать: появился старый слуга Гийом и объявил, что кофе подан. Мадам Данвиль снова шепнула «Тсс!» и поскорее взяла сына под руку; вторую он предложил Розе.

– Шарль, – удивилась девушка, – как вы раскраснелись и как дрожит у вас рука!

Он сумел овладеть собой и улыбнулся ей:

– А знаете почему, Роза? Я думаю о завтрашнем дне.

С этими словами он прошел мимо управляющего и повел дам вниз, к дому. На узкое лицо мосье Ломака вернулась улыбка, в красных глазах мелькнул непонятный огонек – и он принялся буравить в дерне очередную дырку.

– Вы не зайдете выпить кофе? – спросил Трюден, прикоснувшись к руке управляющего. Мосье Ломак еле заметно вздрогнул и оставил трость торчать в земле.

– Тысяча благодарностей, мосье. Только после вас.

– Признаться, сегодня до того прекрасный вечер, что мне пока не хочется уходить отсюда.

– Ах! Красоты природы – я радуюсь им вместе с вами, мосье Трюден, они у меня прямо вот здесь!

И Ломак прижал одну руку к сердцу, а другой выдернул трость из травы. Пейзаж и закат интересовали его не больше, чем недавно мосье Жюстена.

Они сели рядышком на опустевшую скамью, настало неловкое молчание. Смиранный Ломак был слишком скромно и не мог забыть свое место и завести беседу первым. Трюден был поглощен своими мыслями и не расположен разговаривать. Однако правила приличия требовали что-нибудь сказать. Не слишком вслушиваясь в собственные слова, он начал с пустой светской фразы:

– Жаль, мосье Ломак, что у нас было мало поводов узнать друг друга поближе.

– Я в неоплатном долгу перед восхитительной мадам Данвиль, которая избрала меня, дабы сопровождать ее сюда из поместья ее сына под Лионом, благодаря чему я имел честь быть вам представленным.

Красные глаза мосье Ломака, пока он произносил эту вежливую речь, внезапно нервно заморгали. Враги Ломака поговаривали, будто эти приступы глазной болезни, позволяющие уклониться от тяжелой обязанности глядеть прямо в глаза собеседнику, всегда приходят ему на помощь, когда он особенно неискренен или особенно коварен.

– Приятно было слышать, с каким глубоким уважением вы сегодня за ужином упоминали имя моего покойного отца, – продолжал Трюден, упорно поддерживая разговор. – Вы были знакомы?

– Я косвенно обязан вашему достойнейшему отцу своим теперешним положением, – отвечал управляющий. – Когда для того, чтобы спасти меня от бедности и гибели, было необходимо доброе слово человека влиятельного и почтенного, ваш отец произнес это слово. С тех пор я по-своему добился успеха в жизни – разумеется, весьма незначительного – и вот теперь имею честь надзирать над делами в поместье мосье Данвиля.

– Извините, но ваша манера говорить о своей нынешней должности несколько удивляет меня. Ведь ваш отец, насколько мне известно, был торговцем, как и отец Данвиля, который тоже был торговцем; разница лишь в том, что один потерпел неудачу, а другой нажил большое состояние. Почему же ваша нынешняя работа – честь для вас?

– Неужели вы не слышали? – воскликнул Ломак, всем своим видом выражая крайнее изумление. – Или слышали, но забыли, что мадам Данвиль принадлежит к одному из благороднейших домов Франции? Разве она никогда не говорила вам, как часто говорила мне, что ее брак с покойным мужем был мезальянсом и что главная цель ее жизни – вернуть сыну титул, хотя мужская линия ее рода прервалась уже много лет назад?

– Да, – отвечал Трюден, – помнится, я слышал нечто в этом духе, но не обратил внимания, поскольку подобные упования никогда не вызывали у меня особого сочувствия. Вы ведь уже много лет служите Данвилю, мосье Ломак; как вы... – Он замялся, а затем продолжил, глядя управляющему прямо в лицо: – Как вы считаете, его можно назвать добрым и хорошим хозяином?

От этого вопроса тонкие губы Ломака инстинктивно сжались, будто он не собирался произнести более ни слова. Он поклонился, Трюден ждал, он снова поклонился – и все. Трюден подождал еще. Ломак поглядел на собеседника прямо и открыто – но тут же глазной недуг взял свое.

– Похоже, вы спрашиваете не из пустого любопытства, если позволите – у вас особый интерес, – негромко заметил он.

– Я стараюсь быть откровенным со всеми, невзирая на обстоятельства, – парировал Трюден, – и буду откровенен и с вами, хотя мы почти незнакомы. Признаюсь, я и правда задал этот вопрос с особым интересом – и этот интерес касается самого дорогого, самого хрупкого, что у меня есть. – При этих словах голос у него дрогнул, но он твердо продолжил: – С первых дней

помолвки моей сестры с Данвилем я считал своим долгом не скрывать собственных чувств; совесть и любовь к Розе требовали от меня быть честным до конца, хотя мой пыл и может кого-то расстроить или обидеть. Когда мы только познакомились с мадам Данвиль, когда я обнаружил, что знаки внимания, которые ее сын оказывает Розе, принимаются не без благосклонности, я очень огорчился и, хотя это стоило мне больших усилий, не стал скрывать своего огорчения от сестры...

Ломак, который до этого был весь внимание, в этот миг подскочил и в изумлении всплеснул руками:

– Огорчились? Я не ослышался? Мосье Трюден, вы огорчились, что юная дама благосклонно принимает ухаживания молодого человека, обладающего всеми достоинствами и совершенствами французского дворянина?! Огорчились, что человек, который столь прекрасно танцует, поет, говорит, что такой неотразимый и неутомимый дамский угодник, как мосье Данвиль, сумел посредством почтительной настойчивости оставить определенный след в сердце мадемуазель Розы? Ах, мосье Трюден, досточтимый мосье Трюден, это же просто уму непостижимо!

Глазной недуг разыгрался у Ломака сильнее обычного, и он на протяжении своего монолога моргал не переставая. В конце концов он снова всплеснул руками и вопросительно огляделся, помаргивая, словно молчаливо призывал в свидетели саму природу.

– Шло время, дело заходило все дальше, – продолжал Трюден, словно и не заметив, что его перебили, – и когда предложение было сделано и я понял, что Роза готова ответить согласием от всего сердца, у меня появились возражения, и я не стал скрывать их...

– О Небо! – снова перебил его Ломак, на сей раз стиснув руки и всем своим видом выражая замешательство. – Какие возражения? Какие могут быть возражения против молодого, превосходно воспитанного человека с колоссальным состоянием и безупречным характером? Я слышал об этих возражениях, я знаю, что они стали причиной неприязни, и снова и снова задаюсь вопросом, в чем же они состоят?

– Никто не знает, сколько раз я пытался выбросить их из головы как нелепые и надуманные, – отвечал Трюден, – но не получалось. В вашем присутствии я едва ли могу описать в подробностях свои впечатления о вашем хозяине с самой первой встречи, ведь вы ему служите. Достаточно будет, пожалуй, признаться, что я и теперь не могу убедить себя в искренности его чувств к моей сестре и что, несмотря на все свои усилия, несмотря на самое серьезное желание полностью доверять выбору Розы, я сомневаюсь и в характере, и в нравах вашего хозяина, а это сейчас, накануне свадьбы, вызывает у меня самый настоящий ужас. Давние тайные страдания, сомнения, подозрения вынуждают меня сделать это признание, мосье Ломак, едва ли не против воли, вопреки осторожности, вразрез со всеми светскими условностями. Вы много лет жили под одной крышей с этим человеком, вы видели его в моменты, когда он наедине с собой и ничего не остерегается. Я не искушаю вас обмануть его доверие, я только спрашиваю, не сделаете ли вы меня счастливым, сказав, что мое мнение о вашем хозяине вопиюще несправедливо? Я прошу вас, возьмите меня за руку и скажите, если можете, честно и откровенно, что моя сестра не ставит под угрозу счастье всей своей жизни, решившись завтра связать себя узами брака с Данвилем!

И он протянул управляющему руку. По удивительному стечению обстоятельств именно в этот момент Ломак смотрел в сторону – он залюбовался теми самыми красотами природы, которые так восхищали его.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.